

ИНЫЕ БЕРЕГА

журнал о русской культуре за рубежом

1 (51) 2020

УЛАНОВА ОГОНЬ ВНУТРИ И КРИК СКВОЗЬ ШЕПОТ *110 лет со дня рождения одной из величайших балерин XX столетия*

СВЯТОЙ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Донкихотский подвиг
жизни Александра
Добролюбова

В ШВЕЙЦАРИЮ НУЖНО ЕЗДИТЬ НАБИРАТЬСЯ УМА-РАЗУМА

Швейцария в путешествиях
Василия Жуковского
и Николая Карамзина

Ф.И. ШАЛЯПИН — ДОН КИХОТ

Первое представление
оперы Жюль Массне
«Дон Кихот» с Шаляпиным
в заглавной партии

БИБЛИО-ГЛОБУС

ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ

Более 200 тысяч наименований книг
Антиквариат и предметы коллекционирования
Канцелярские и офисные товары
VIP-обслуживание
Интернет-магазин www.bgshop.ru
Корпоративные подарки
Подарочные карты
Print on demand – печать книг по требованию
Услуги туроператора «Библио Глобус» www.bgoperator.ru
Билеты в театры, на концерты
Встречи с авторами
Читательские клубы
Цветы и флористические композиции

Выполняем

корпоративные заказы на цветы
и цветочные композиции



Москва, ул. Мясницкая, д.6/3, стр.1 (495) 781-19-00
www.biblio-globus.ru

*Наши авторы пишут
со всех концов мира, наши
герои жили и живут по всему
земному шару.*



Теперь вы можете читать
наш журнал в Интернете:
<http://www.inieberega.ru>

ИНЫЕ БЕРЕГА

**ЖУРНАЛ О РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ**

№ 1 (51) 2020

Журнал издается в рамках Программы государственной и общественной поддержки русского театра за рубежом под патронатом Президента Российской Федерации.

Главный редактор:
Наталья Старосельская

Редактор:
Евгения Раздирова

Дизайнер:
Людмила Сорокина

Адрес редакции:
107031 Москва,
Страстной бульвар, 10/34 стр.1
Телефон: (495) 650 3089
e-mail: berega@stdrf.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-25141 от 28 июля 2006 года.

© Все права защищены

Перепечатка и воспроизведение частично или полностью текстов и фотографий из журнала «Иные Берега» только с письменного разрешения держателей авторских прав.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Выходит два раза в год.

Типография ООО «СВ-принт»

Предыдущие номера журнала вы можете приобрести по адресу: Страстной бульвар, дом 10/34 стр. 1

Учредитель и издатель:
© Союз театральных деятелей России

Издание призвано соединять соотечественников, разбросанных далеко друг от друга после развала СССР и оказавшихся в разных странах. Нас интересуют судьбы не только тех, кто очутился в эмиграции, но и тех, кто невольно оказался по ту сторону границы — русских, родившихся и выросших в нынешних странах СНГ и Балтии, но сохранивших русский язык и русскую культуру.

На обложке: Галина Уланова





Дорогие друзья!

Сегодня, наверное, как никогда прежде на памяти нескольких поколений, весь мир объединился общей бедой, общей тревогой — пандемия охватила едва ли не всю нашу планету, унесла много жизней людей разного возраста, разного мировоззрения. И мы — очень хочется верить в это! — осознали подлинную ценность каждой человеческой жизни. Осознали, что нет ближних и дальних, а есть Человечество. Этот номер собирался нелегко — многим нашим авторам, как и многим читателям было не до проблем и забот русскоязычного мира внутри разноязычного космоса, но разве можно было сознательно отказаться от тех ценностей, что остаются неизменными в любые времена? От неизвестных страниц нашей великой истории, включая последние годы жизни последней российской императрицы Марии Федоровны и будни Второй мировой войны, окончание которой Россия отметила спустя 75 лет. От имен представителей великой отечественной культуры, взволнованно, эмоционально открывших для читателей позапрошлого века далекие страны. От сегодняшнего дня одного из русскоязычных театров, интересно, содержательно и поучительно для многих живущего в Копенгагене. От памяти о том многонациональном советском искусстве, которое входило в нашу жизнь неделимо. Наконец, о чем и как пишут сегодня молодые авторы, еще только входящие в литературу, за пределами нашей страны. Само название нашего журнала призвано как будто к двум началам: фиксировать по возможности то, что происходит в русской культуре за пределами России и как можно внимательнее всматриваться в наше прошлое, чтобы осознать многие не до конца осознанные истоки происходящего сегодня. Чтобы помнить. Потому что наша память продлевает жизнь тем, кого уже давно или не очень давно нет с нами. В конечном счете, все мы, проживая свою собственную жизнь, оказываемся неотделимы от прошлого. И всю жизнь вынуждены учиться — на ошибках прошлого, чтобы не повторить их в настоящем и будущем... Наступило лето. Время цветения, ярких красок, наслаждения буйством природы. Лучшее время для того, чтобы ощутить всю щедрость бесценного дара, имя которому — Жизнь! Будьте благополучны и счастливы, дорогие наши друзья! И — до новых встреч...

Неизменно ваша Наталья Старосельская
главный редактор журнала «Иные берега»

СОДЕРЖАНИЕ



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Прямая речь: вместо послесловия к показу одного фильма

Леонид Варебрус

Книга «Какой удивительный парень» с нестандартной ремаркой «За Италию: из Донского котла в республиканскую тюрьму» — это рассказ о солдате итальянской фашистской армии Фердинандо Пасколо, ставшем партизаном-антифашистом с именем «СИЛЛА». 8

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Швейцарские Альпы учат: революции — это зло

Наталья Беглова

Основоположник русского романтизма Василий Андреевич Жуковский интересовался Швейцарией, хорошо знал ее историю, культуру и науку. Впервые поэт обратился к швейцарской тематике еще в 1802... 15

Карамзин, или В Швейцарию нужно ездить набираться ума-разума

Наталья Беглова

Далеко не всем известно, что, будучи совсем молодым человеком, Карамзин совершил длительное путешествие по Европе, посетил в том числе и Швейцарию, и описал свои впечатления в «Письмах русского путешественника». 29



Лица

Святой русского символизма

Тимофей Прокопов

*Донкхотский подвиг жизни
Александра Добролюбова. 40*

Уланова. Огонь внутри и крик сквозь шепот

Инга Радова

*В этом году исполняется 110 лет
со дня рождения одной
из величайших балерин XX
столетия — Галины Сергеевны
Улановой. 55*

Русский автор английской классической драматургии

Анастасия Дудолодова

*Андрей Корчевский привносит в
российское культурное поле новую,
хорошо известную в западной
культуре, драматургию, которая,
наконец, выходит на встречу с
русским зрителем. 68*

«Нанести удар Войне и возвеличить Мир»

Тимофей Прокопов

*Больше других издаваемый и
самый читаемый романист
русского зарубежья, многолетний
претендент на нобелевское
лауреатство Марк Александрович
Алданов (1886–1957) свой
литературный путь начал век
тому назад. 72*

Содержание



ЛИТЕРАТУРА

Флип флопсы

Елена Попова-Люк

Фатия родилась в Сомали. Хлебные лепешки, которыми в детстве ее кормила мама, на всю жизнь остались самой вкусной едой. Но когда началась война, вся семья: мать, отец и трое детей переехали в Кению и поселились в лагере для беженцев... 88

Aqua alta (Прилив)

Саша Филбар

Я часто думаю о тебе. Клянусь тебе, честное слово! Особенно, когда приходится пересекать в утренней голубоватой дымке Пьяцца Сан Марко. 94

ТЕАТР

Дарить чувство родства

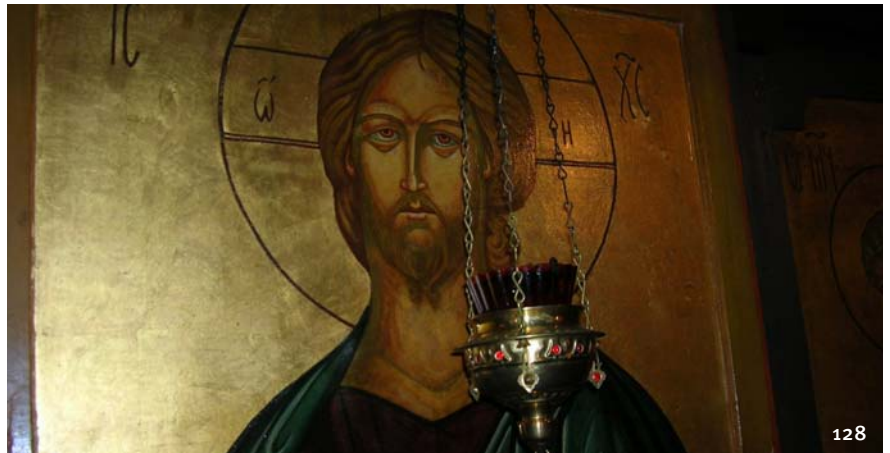
Татьяна Дербенева-Якобсен

Имя актрисы Ленкома Татьяны Дербеновой памятно театралам по ее прекрасным работам в спектаклях Марка Захарова. В 2000 году Татьяна Дербенева-Якобсен организовала Датско-российский театр «Диалог» в Копенгагене, а затем и Детскую студию при нем. 102

Голоса... голоса... голоса

Наталья Старосельская

«Лица» — этот телевизионный спектакль, прошедший по экранам в 1978 году, произвел настолько незабываемое впечатление, что запомнился почти в подробностях на долгие-долгие годы. 105



ТЕАТР

Ф.И. Шаляпин — Дон Кихот

Мая Романова

19 февраля 1910 года в Монте Карло состоялось первое представление оперы Жюль Массне «Дон Кихот» с Ф.И. Шаляпиным в заглавной партии. В этот вечер в прекрасном зале Казино-театра, созданного выдающимся французским архитектором Ш. Гранье в стиле его «Гранд-опера» в Париже, собралась самая изысканная публика во главе с князем Монако и его супругой. **110**

АРХИВ

Голос императрицы из эмиграции

Юлия Кудрина

«...Я испытываю тяжелые, к тому же еще и горькие чувства из-за того, что мне таким вот образом приходится уезжать отсюда по вине злых людей!.. ... Я прожила здесь 51 год и любила и страну, и народ. Жаль! Но раз уж Господь допустил такое, мне остается только склониться перед Его волей и постараться со всей кротостью примириться с этим», — записала императрица Мария Федоровна в дневнике. **119**

Вышедшие (вернувшиеся) из «ТЕНИ»

Леонид Варебрус

Этих наших соотечественников и земляков, попавших в немецкий плен во время войны, а потом или отправленными немцами на шахты Бельгии или оставшимися в лагерях Фландрии и там сгинувшими, родина вычеркнула из своей биографии на десятилетия. **128**

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПОКАЗУ ОДНОГО ФИЛЬМА

Леонид Варебрус

Военное прошлое неожиданно затронуло судьбы почти полсотни наших уже современников XXI века, неожиданно сложившись в прежде мало знакомые эпизоды. Это факты биографии некоторых подпольщиков из русских участников Сопротивления времен Второй мировой войны, «озвученных» на научной конференции в Союзе журналистов Москвы, куда пригласили соотечественников из нескольких стран мира. Событие оказалось неординарным. Прежде всего, своей неизвестностью для большой публики, привыкшей к уже общеизвестным фактам времен Второй мировой войны. Впрочем, были и исключения. Хотя бы знакомство с профессором из итальянского университета в Удине Паоло Пасколо. Он представлял книгу «Какой удивительный парень» с нестандартной ремаркой «За Италию: из Донского котла в республиканскую тюрьму». Это рассказ о его отце, солдате итальянской фашистской армии Фердинандо Пасколо, ставшем партизаном-антифашистом с именем «СИЛЛА». Книга издана одновременно в Москве на русском языке и в Италии на итальянском... Это фронтовые заметки и просто эпизоды жизни «с другой стороны» немецко-русского фронта в России и в Италии.

Вот случай из книги Фердинандо, повлиявший, как считал он сам, на его всю будущую жизнь.

«... Линия фронта бесконечно шла по течению Дона. На севере были немцы, затем итальянцы и около десяти километров на юг — румынские союзники. Дон был справа. Русская деревня тянулась вдоль. Там не было живой души. Но я увидел, как румыны приступили к переправке группы военнопленных: ряды ус-

талых, голодных и холодных людей. Было очевидно, что эти русские не могли долго идти, и, фактически, когда кто-то не мог больше идти и падал на землю, рядом стоящий румынский солдат стрелял в него. Эта колонна оставляла за собой жуткие следы на дороге, по которой шли и мы... Но многие смеялись над смертью других. Вспоминать это ужасно».

А вот и история, с которой начались все обсуждения. Это часть одного из ста фильмов



Книга, изданная в России и Италии

грандиозной телевизионной эпопеи «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», лауреата знаменитой журналистской премии ТЭФИ 2005 года. 80 лет российской истории с 1913 по 1993 год. И еще уточнение: каждой серии соответствует не только какой-либо известный политик, ученый или деятель культуры, но и один год нашей прошлой жизни. Иными слова-

«Хотите, покажу все доносы, что на вас написали? Ну, вот, хотя бы: когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите по-французски. И ваш сосед пишет, что это плохо, он не понимает, о чем вы говорите. И сообщить ничего не может...»

ми, этот сериал, одновременно, и «портрет года», и портрет человека из этого времени. Мы смотрим год «1951-й» и слушаем подробности рассказа Николая Сванидзе...

— Сегодня в центре Ульяновска, бывшего Симбирска, на Советской улице (когда-то Спас-

ской) стоит «ленинский мемориал». До 1951 года на этом месте был Ильинский храм. В 51-м остались одни стены. В храме — трикотажная фабрика. Над алтарем фабричная 20-метровая труба. Вторая, короткая, внизу, прямо в алтаре, торчит вбок. Из нее тоже летит шлак прямо во дворы жилых домов.

В одном из них, еще деревянном, в бывшей кухне, живет Нина Алексеевна Кривошеина с пятнадцатилетним сыном Никитой... Из той комнаты, где они жили раньше, на улице Рылева, их выселили. Может, и к лучшему: соседи, которые жили за фанерной перегородкой, на Кривошеиных «стучали».

Начальник жилотдела, полковник Федоров, который помог Кривошеиным с «новым жильем», так и сказал: кухня это страшновато, но переезжайте, хотя бы будете отдельно от соседей...

А потом взрывается: «Хотите, покажу все доносы, что на вас написали? Ну, вот, хотя бы: когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите по-французски. И ваш сосед пишет, что это плохо, он не понимает, о чем вы говорите. И сообщить ничего не может...»

Нина Алексеевна, действительно, говорит с сыном по-французски. Они три года как приехали в Ульяновск из Парижа. Муж Нины Кривошеиной, Игорь, участник антифашистского Сопротивления. Летом 44-го арестован.

Из рассказа Никиты Кривошеина, Париж, наше время: «В гестапо его мучили, долго пытали, все это длилось 11 дней. И он оказался в Бухенвальде, потом в Дахау. И в этих местах судьба столкнула его с офицерами Красной Армии, которые также оказались в концлагерях. Чаще всего, за попытки побега. Общение с этими людьми... очень настроило отца к будущему возвращению в СССР.

22 июня 1946 года в парижской газете «Русские новости» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство и проживающих на территории Франции.

Русская эмиграция вся политическая. Она была спровоцирована большевистским переворотом 1917 года. Но война и победа СССР над фашизмом произвели грандиозное впечатление: многие посчитали, что наступила новая эра и внутри самого Советского Союза немедленно начнутся перемены... Вот один из ответов на эту эйфорию.

— Указ Верховного Совета будоражит души, многие мечтают о советских паспортах. Эмиг-



Иван Крылов,
Брюссель–Москва

рация раскалывается: возвращаться или оставаться? Раскол проходит даже внутри семей... Новые паспорта выдают в советском посольстве. Заявление об обмене паспорта можно подавать в Посольство СССР во Франции до 1 ноября 1946 года эмигрантам «первой волны», людям, не бывшим на родине четверть века, дается всего 4 месяца, чтобы принять судьбоносное решение для себя и своих детей... После войны русская эмиграция во Франции составляет около 65 тысяч человек.

«Война «сместила» все акценты восприятия советской власти и для многих это произошло непосредственно 22 июня 1941 года.

В этот день во Франции начинаются аресты среди русских эмигрантов. Гестапо входит в их квартиры со словами: «Вы русский? Значит, вы арестованы!»»

Около 10 тысяч получают советские паспорта.

На самом деле, эта история начинается раньше, во времена войны, когда русская эмиграция начала активно участвовать в RESISTANCE, французском движении Сопротивления. Многие погибли, многие были казнены.

Война «сместила» все акценты восприятия советской власти и для многих это произошло непосредственно 22 июня 1941 года.

В этот день во Франции начинаются аресты среди русских эмигрантов. Гестапо входит в их квартиры со словами: «Вы русский? Значит, вы арестованы!»

В этот день князь Оболенский пришел к советскому послу Богомолу с просьбой отправить его на родину, чтобы он мог вступить в Красную Армию: невозможно!

Князь Николай Александрович Оболенский, участник Сопротивления еще до 22 июня 1941 года. Иными словами, князь Оболенский сражается с фашизмом в то время, когда СССР еще живет «под знаком» Договора о дружбе с фашистской Германией. Он попадет в Бухенвальд. Потом становится священником. Его жена, Вера или Вики Оболенская, участница Сопротивления, будет гильотинирована в 1944 году в Берлине, в тюрьме Плётцензее...

Под Парижем, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, мемориальная доска ее памяти...

Николай Вырубов просится в Красную Армию: хоть окопы рыть, но на русской земле. Не удается. Николай Вырубов с 1940 года в рядах антифашистской армии «Сражающаяся Франция». Сподвижник генерала Де Голля. Будет награжден всеми военными орденами Франции.

Любопытный факт: еще во время освобождения Парижа русская организация Сопротивления выходит из подполья и начинает самостоятельную деятельность...

... Длинным оказался этот список героев и русских патриотов во Франции. В фильме Николая Сванидзе была рассказана лишь маленькая часть военных историй людей эмиграции. Долгие годы потребовались энтузиастам, и сегодня живущим во Франции, чтобы собрать конкретные истории конкретных людей с фактами, фотографиями, документами, свидетельствами родных. Из тысяч имен — всего несколько (по материалам издательства YMCA-PRESS. Paris):

— Игорь Леонидович Фесенко, прошел немецкий плен и концлагеря;

— Кирилл Владимирович, сын генерала Левандовского, воевал в Германии во 2-й танковой дивизии генерала Леклерка, затем служил в оккупационных войсках;

— Борис Лосский, военнопленный №95380 шталага в Австрии, попал в плен вместе с полком в Эпинале в июне 1940 года, в лагере Народном университете преподавал историю искусства;

— Граф Борис Бобринский состоял в гражданской обороне Парижа;

— Настоятель парижской церкви Покрова Пресвятой Богородицы священник Дмитрий Клепинин погиб в концлагере Бухенвальд;

— Анатолий Левицкий и Борис Вильде, этнографы французского Музея человека, создали на работе группу Сопротивления, их арестовали и расстреляли в феврале 1942 года;

— Николай Мхитаряни-Мхитаров был арестован в марте 1944 года во время боевого задания и расстрелян 15 июля во дворе парижской тюрьмы «Санте»;

— Брат писателя Владимира Набокова — Сергей Набоков был арестован дважды. Точная причина его второго ареста неизвестна: Владимир писал, что его брата арестовали как «британского шпиона», бывшие узники, наоборот, утверждали, что Сергей пытался спрятать сбитого английского летчика... 24 ноября 1943 года Сергей Набоков был вновь арестован по обвинению в «высказываниях, враждебных государству» и «англо-саксонских симпатиях и отправлен в концлагерь Нойенгамме под номером 28631.

Владимир и Сергей Набоковы



Очевидцы сообщали, что в заключении Сергей проявлял незаурядную стойкость, помогал слабым и делился едой и одеждой. 9 января 1945 года, за четыре месяца до освобождения концлагеря, Сергей Набоков умер от дизентерии и голода...

А вот еще одна история.

Сын бельгийских патриотов-эмигрантов Иван Крылов приехал в Москву в 2020 году в преддверии Дня Победы из Брюсселя... И тоже по приглашению Союза журналистов, организовавшего конференцию о временах Сопротивления... Русских имен участников Сопротивления и впрямь тысячи, и в Бельгии, и в Голландии, и в Люксембурге, и во Франции.

Крылов поведал историю своей семьи времен Сопротивления:

«Мне хотелось рассказать и москвичам, и всем участникам конференции, все, что знаю о своей семье времен Сопротивления и о фактах, связанных с родителями и другими русскими эмигрантами, жившими и живущими ныне в Брюсселе. Семейный архив только начали разбирать, не говоря уже о семейной библиотеке, где были собраны все статьи, документы и книги, посвященные времени Второй мировой войны и участникам Сопротивления, как в Бельгии, так и во Франции.

Начнем знакомство. Мой отец, Петр Иванович Крылов, после эвакуации Белой армии из Крыма, как и его брат, оказался в Константинополе. Затем была Югославия и наконец, Брюссель. Отец — выпускник Сараевского кадетского корпуса и коммерческого факультета Лувенского университета в Бельгии... А потом была война.

Немецкие войска напали на Королевство 10 мая 1940 года. Бельгия защищалась лишь 18 дней, потом капитулировала и сразу была оккупирована. Многие армейские солдаты и офицеры, как и большинство министров, оказались в Англии. Бельгийское правительство, перебравшись в Лондон, объявило о продолжении борьбы с Германией. Из бельгийских добровольцев были сформированы две дивизии. А король Леопольд III не захотел уезжать и оказался под арестом в одном из своих замков. Часть территории была присоединена 18 мая 1940 года к Германии, а на страну была наложена контрибуция в 73 миллиарда бельгийских франков. Забегая вперед, скажу еще, что короля все-таки выслали в Швейцарию, но лишь в самом конце оккупации перед освобождением Брюсселя американскими войсками: союзники освободили столицу в сентябре 1944 года.

Паоло Пасоло
и Леонид Варебрус.
Москва. 2020



Патриоты и русские эмигранты в Бельгии с самого начала оккупации стали создавать сети «resistance», Сопrotивления, становясь партизанами или членами вооруженных подпольных сил...

«Патриоты и русские эмигранты в Бельгии с самого начала оккупации стали создавать сети «resistance», Сопrotивления, становясь партизанами или членами вооруженных подпольных сил...»

Когда немцы напали на Советский Союз в июне 1941 года, мой отец решил пробраться через Германию в Россию и защищать рус-

скую землю. Добрался до оккупированных зон Советского Союза, но местные жители ему рекомендовали вернуться, линию фронта в тот момент перейти самостоятельно было невозможно. Зато он увидел все беды и лишения своих соотечественников в оккупированных зонах, то, как против них боролась немецкая армия и местные полицаи...

Его «поход» на Восток длился почти два года. Каким способом отец вернулся в Бельгию к концу 42-го или 43-го года, я точно не знаю. А сам он об этом никогда не рассказывал. Как и о своем вступлении в Сопrotивление. Знаю лишь, что благодаря знакомству со многими русскими.

К тому времени в бельгийских шахтах (а угля было предостаточно в те времена) работа-

*Герой
Сопротивления
барон де Лоншамп,
военный летчик.
Брюссель, Бельгия.
Фото Л. Варевруса*



ли почти 10 тысяч советских военнопленных. Под немецким, конечно, управлением и в разных районах Бельгии, в Льеже, например. И поскольку друг и однокашник отца по университету был инженером на одной из этих шахт, в Кампене в городке Сборах, Павел Александрович Гайдовский, — он и предложил ему

помочь выручать советских военнопленных, сказав, что именно нужно делать и как.

Они были знакомы еще с Сараево, а потому отец верил ему и давно хотел включиться в борьбу с немцами. Вместе с другими они принялись разными путями потихоньку освобождать военнопленных из лагерей. Насколько теперь знаю, Гайдовский занимался их эвакуацией через сети resistance в Арденны, а в Арденнах (это горы на границе Бельгии, Люксембурга и Франции) отец управлял этими группами, поскольку большинство русских не знали языка. В течение двух лет они вели эту работу, одновременно занимаясь на шахтах организацией саботажей и антинацистскими акциями.

Мы, пока были маленькими, об этом ничего не знали, да и сам папа не рассказывал. Только однажды, когда мне было 12–13 лет, к нам в дом приехал бургомистр одного арденнского городка, и они заперлись в гостиной, начав длинный разговор про какие-то действия против немцев... Ведь отец был в Арденнах и хорошо знал эти места, куда мы потом каждый год ездили с ним за грибами. Тогда-то он и упомянул одно местечко, которое называется Бакле. Там был один из центров Сопротивления, как я вам рассказывал, таких «точек» в Бельгии было очень много. И отец был членом сразу нескольких групп и организаций, связанных с Сопротивлением. Как и его брат...

*Родители Ивана
Крылова, участники
Сопротивления.
Брюссель, 50-е годы.
Семейный архив*



Я должен подчеркнуть, что родители, я так догадываюсь, работали сразу в нескольких движениях таких организаций. Единого центра у них не было.

И еще была целая подпольная сеть, которая просто спасала английских и американских летчиков, если они были подбиты на территории Бельгии. Их вывозили во Францию.

И сегодня, в центре Брюсселя, прямо на Авеню Луиз у дома номер 453, где в годы оккупации было гестапо, рядом со зданием установлен «золотой» бюст бельгийскому летчику, прилетевшему из Англии и смело обстрелявшему здание. Под бюстом — надпись: «В память об атаке. 29 января 1943 года».

В деле спасения и летчиков, и русских военнопленных участвовали также Елена Павловна Щербатова, ее сестра — Ольга Павловна, Мария Васильевна Альбекова, супруга моего дяди Бори и их дочери. В разных действиях Сопротивления, в разных местах Бельгии. Да и моя мама тоже. Они с отцом оба были из Брюсселя и познакомились во времена resistance в

Арденнах: были связными, точнее не могу сказать, потому что мы только разбираем семейные архивы с книгами, документами и записями. Отец скончался в 1974 году, мне был 21 год... Но, понимаете, война, Сопротивление, партизаны, — эти темы дома были табу. Мама дожила до 2010 года и нам было запрещено даже заглядывать в коробки с архивами, даже заходить в их библиотеку. Странно, но факт.

Сейчас я вижу, что она собирала все материалы и книги, связанные и с войной, и с Россией. Очень щепетильно к этому относилась, очень бережно... Теперь это семейный архив, в котором разобрана лишь маленькая часть. Пока только про русское Сопротивление в Бельгии. Есть и документы о работе отца и дяди Бори, его брата. Оказывается, за свои действия и вклад в борьбу с немцами они получили медали, это теперь доказано и официальными публикациями в журнале «La Monitor». Мы только начали изучение всего, что осталось, но придет время, и я смогу рассказать все подробно». **ИБ**

*Погибшим за нашу
и вашу свободу.
Центральный дом
журналиста*



ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ УЧАТ: *революции — это зло*

Наталия Беглова



О.А. Кипренский. Портрет В. А. Жуковского. 1815. Третьяковская галерея

Основоположник русского романтизма Василий Андреевич Жуковский интересовался Швейцарией, хорошо знал ее историю, культуру и науку. Впервые поэт обратился к швейцарской тематике еще в 1802, сделав прозаический перевод французской повести Ж. П. К. Флориана «Вильгельм Телль, или Освобожденная Швейцария». В свою бытность редактором «Вестника Европы» рассказывал читателям о таких выдающихся представителях швейцарской науки как физиогномист И. К. Лафатер, писатель Р. Тенфер, педагог И. Г. Песталоцци и о многих других.

Часть I. В Швейцарии умеют «жить с собою»

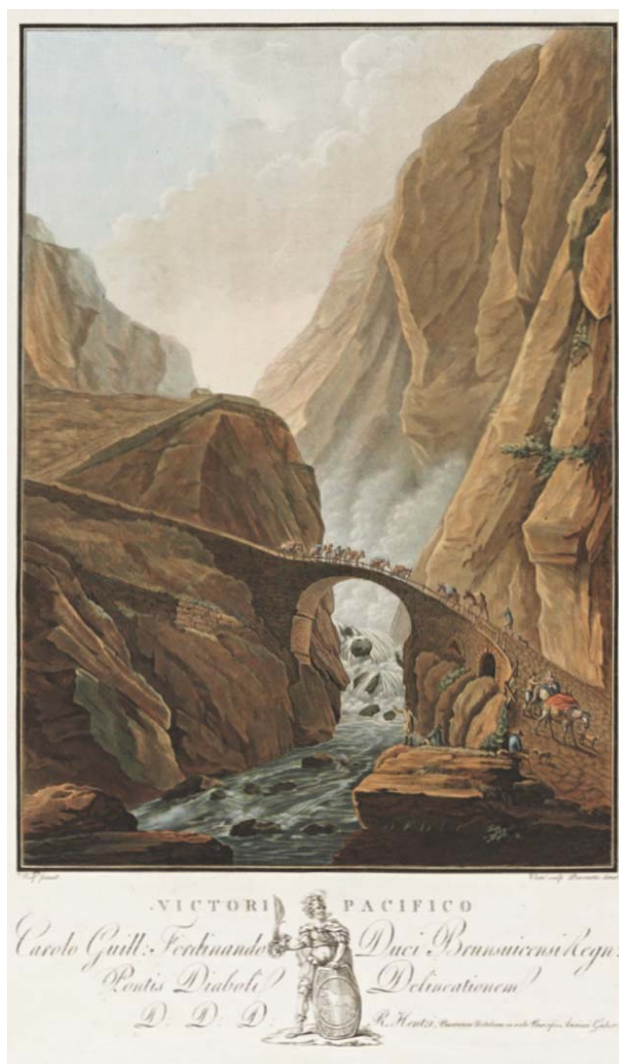
Ущелье Шолленен и Чёртов мост. 1787–1788.
Гравюра, раскрашенная акварелью

Но вклад Жуковского в открытие русскому читателю Швейцарии этим отнюдь не ограничивается. Василий Андреевич дважды приезжал в Швейцарию, сначала в 1821 году, а затем в 1832–1833 годах. Во время этих поездок у поэта зародились идеи, которые внесли несколько новых и очень важных элементов в «швейцарский миф».

Надо сказать, что к этому времени в России в целом уже сложилось определенное представление о Швейцарии. Вот как пишет об этом известный российский писатель и историк Р. Ю. Данилевский: «Русский образ Швейцарии оформился довольно быстро в так называемый «швейцарский миф» — представление о горной стране миролюбивых пастухов, которые, тем не менее, настроены патриотически и — что было в этом мифе особенно важным — не терпят над собой никакого насилия ни со стороны внешних врагов, ни со стороны имперской власти, управляясь у себя сами».

Первый раз Жуковский пробыл в Швейцарии с июля по сентябрь 1821 года. Василий Андреевич сопровождал в поездке по Германии великую княгиню, а впоследствии императрицу Александру Федоровну, которой он преподавал русский язык. Получив ее согласие, он отправился на несколько месяцев в Швейцарию.

В этой связи хочется упомянуть об истории одной дружбы в жизни поэта, о которой не столь часто пишут. В свите Александры Федоровны была фрейлина Мария Маргарета (Цецилия Александровна) Вильдермет, родом из Швейцарии, приехавшая в Россию вместе с прусской принцессой в 1817 году. С Жуковским их связывали самые теплые отношения. Поэт ценил в Вильдермет ум и ее нелюбовь к придворным интригам. Он





Дю Джордж.
Коронационный портрет
Александры Федоровны
(деталь)

оставил вот такое суждение о фрейлине: «У ней много ума и при нем есть какое-то детское простосердечие. <...> ...она более, нежели кто-нибудь, удалена от интриги». Интересно, что Вильдермет ценила Жуковского за то же простодушие и неспособность к интриге. Об этом в своих воспоминаниях пишет А.О. Смирнова-Россет. По ее словам, Жуковский «всегда очень любил и уважал фрейлину Вильдермет, бывшую гувернантку императрицы Александры Федоровны, через которую он часто выпрашивал деньги и разные милости своим protégés, которых у него была всегда куча. М-лле Вильдермет была точно так же не сведуща в придворных хитростях, как и он; она часто мне говорила: «Joukoffsky fait souvent des bévues; il est naïf, comme un enfant» (Жуковский часто попадает впросак; он наивен, как дитя) и Жуковский точно таким же образом отзывался об ней».

И вот именно эта швейцарская приятельница оказала Василию Андреевичу большую помощь в подготов-

ке его первого путешествия по Швейцарии. Сохранилось немало ее писем поэту, в них она дает ему очень подробные советы относительно наиболее интересных маршрутов, предпочтительных способов передвижения и инструктирует относительно различных деталей быта, которые могли бы пригодиться в поездке.

Приведем лишь один отрывок из такого письма, написанного в преддверии поездки Жуковского: «... пройдя пешком в Симплон, наконец, можно приехать на экипаже через Вале и Лозанну до Берна. В экипаже до Туна, по воде в Унтерзеен, на шарабане до Гринденвальда. Верхом на вершину Шайдека и спуститься пешком [...], спуститься по Гримселю и льду Роны пешком. Верхом через Вале, если будет достаточно времени. Было бы лучше пойти пешком до Бриенца (так как дороги отвратительны) и взять там экипаж, подняться на Гемми и спуститься пешком, поехать на шарабане из Кандерштега до озера Бриенца, верхом в



Перевал Сен-Готард. Старинная гравюра из коллекции автора

Сарнен, затем пешком. [...] До Риги Кюсснахта пешком. Из Швица до Бруннена можно поехать на шарабане. Подняться верхом на Святой Готтхард. Итак, до Глариса пешком. И затем в экипаже вернуться в Цюрих».

Думается, что многие эти практические советы весьма пригодились Василию Андреевичу во время его путешествия. Когда Жуковский отправится в поездку по Швейцарии во второй раз, Вильдермет уже покинет Россию, будет жить в своем родном городе Бомон, недалеко от Берна, где Жуковский и посетит ее в октябре 1832 года. Они не только увидятся, но будут продолжать постоянно переписываться, и в письмах Жуковского к Вильдермет он будет обсуждать с ней очень многое из того, что станет частью его «горной философии». Но это произойдет позднее, а пока вернемся к первому путешествию поэта в Швейцарию в 1821 году.

На протяжении поездки Жуковский вел подробный дневник, фиксируя события, встречи, впечат-

ления. Швейцарию он воспринимает в тот период в русле своих романтических настроений. Нельзя не согласиться с А.С. Янушкевичем, известным литературоведом, исследователем творчества Жуковского, когда он пишет, что эти дневники-письма «стали путешествием по горам и озерам Романтизма». Тон его описаний задан уже на границе со Швейцарией, когда в Констанце (Констанц в тот момент входил в состав Великого герцогства Баден, исторического государства на юго-западе Германии, существовавшего в период с 1806 по 1918 годы — Н.Б.) он катается по Боденскому озеру: «... нельзя изобразить словами тех бесчисленных оттенков, в которых является его поверхность, изменяющаяся при всяком колыбании, при всяком ветерке, при всяком налетающем на солнце облаке; когда озеро спокойно, видишь жидкую тихо-трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда волны наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, а по ребрам их голубая



Франсуа Юбер и Кристиан фон Мечел. Вид на Шильонский замок. Гравюра, раскрашенная акварелью

пена, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными».

Вскоре поэт оказывается на перевале Сен-Готард и буквально не находит слов, чтобы передать впечатление от увиденного: «Неописанное зрелище природы, которой здесь нет имени; здесь она ни с чем знакомым не сходствует! Кажется, что стоишь на таком месте, где кончится земля и начинается небо...»

Жуковский, конечно, не случайно стремился в эти места. Осенью 1799 года армия Суворова, пройдя с боями именно через перевал Сен-Готард и перейдя Чёртов мост, спустилась через заснеженный перевал Кинциг в долину Муотаталь, в Швейцарии. Находясь на Чёртовом мосту, Жуковский вспоминает о знаменательных событиях российской истории: «взглянул я на вершину Кинцигкульма, доступную только горным пастухам, чрез которую наш Аннибал перевел свое войско, томимое голодом, но не побежденное».

Во время путешествия 1821 г. Жуковский, естест-

венно, стремится также посетить места, связанные с легендой о Вильгельме Телле, ведь он делал перевод книги о нем: «... я ходил в Бюрглен, место рождения Телля»; «Мы поплыли к Теллевой часовне (Tellsplatte)»; «Я возвратился тою же дорогою, и из Веггиса поплыл в Кюснахт, чтоб видеть die hohle Gasse (ущелье — Н.Б.), где Вильгельм Телль застрелил Геслера».

За те несколько месяцев, которые Жуковский находился в Швейцарии в 1821 году, он сумел посетить и другие места, которые стали уже обязательными в маршрутах приезжающих в Швейцарию. Среди них были, конечно, и города на побережье Женевского озера, которые произвели на путешественника сильное впечатление: «Сердце радуется, как скоро, покинув Савою, въедешь в Женевский кантон: картина деятельности, довольства и порядка представляется глазам во всей своей красоте».

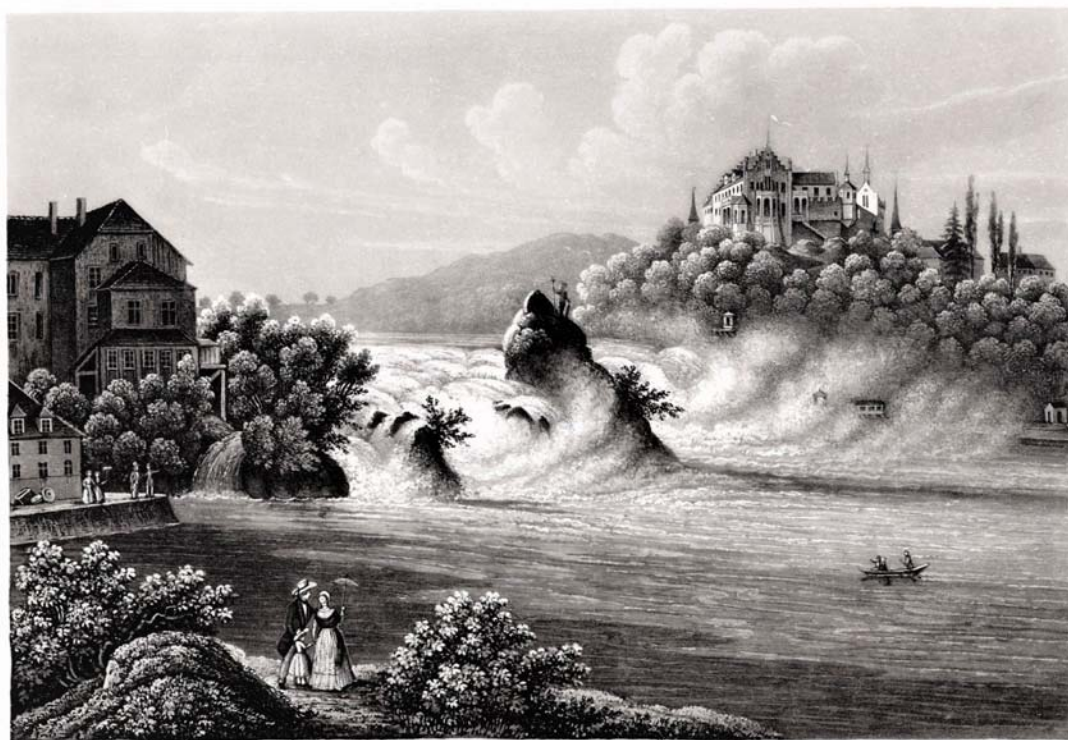
Оказавшись на озере Леман (французское название Женевского озера — Н.Б.), поэт посещает Веве, Монтре и, конечно, Шильонский замок. Именно тогда возни-



KALT-BAD AUF DEM RIGI.

LES BAINS FROIDS SUR LE RIGI.

Риги-Кульм.
В этом отеле
Жуковский провел
ночь и отсюда он
любовался восходом
солнца.
Старинная гравюра
из коллекции
автора



Château du Blin,
près de Schaffhouse.

Полубовавшись
напоследок
Рейнским
водопадом,
Жуковский
простился со
Швейцарией

Фрейденбергер,
Зигмунд.
Швейцарское
гостеприимство.
Гравюра,
раскрашенная
акварелью.
80-е годы XIX в.



D'après le dessin de S. Freudenberg, par D. Lafond.

Sigmund Freudenbergер; Daniel Lafond: L'Hospitalité Suisse.

кает желание перевести поэму Байрона «Шильонский узник» на русский язык.

На острове Шильон поэт побывал осенью 1821 года. Темница, в которой держали Франсуа Боннивар, произвела на него сильнейшее впечатление. Вот как он описал ее: «Темница, в которой страдал несчастный Боннивар, выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу. На одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бонниварова. А на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытопанная ногами несчастного, который столько времени вынужден был ходить на цепи своей все по одному месту».

Жуковский перевел поэму вскоре после возвращения из Швейцарии, и его перевод был встречен современниками с энтузиазмом. «Перевод Жуковского est un tour de force (являет собою чудо мастерства), — писал Пушкин. — <...> Дóлжно быть Байроном, чтоб выразить со столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским — чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть...» Именно после публикации поэмы «Шильонский узник» в русском переводе посещение замка стало

обязательным пунктом программы любого русского путешественника в Швейцарии — и остается им до сегодняшнего дня.

Василий Андреевич Жуковский открыл Шильонский замок и его окрестности для широкой публики в России Так, например, в 1836 году в Шильонском замке побывал Гоголь. Он провел здесь осень 1836 года и не преминул сообщить об этом Жуковскому: «Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно Вашим наследником: завладел местами Ваших прогулок; мерил расстояние по назначенным Вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц; нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика „Шиль<онского> узник<a>“; впрочем, даже не было и места». Гоголя так вдохновили здешние места, что в Вевé он возобновил работу над «Мертвыми душами».

В самой Женеве Жуковский провел всего три дня, но успел немало. Он мечтал лично познакомиться со знаменитым швейцарским педагогом Песталоцци. Как мы знаем, проблемы воспитания издавна интересовали Жуковского, и он был прекрасно знаком с педагогической системой Иоганна Генриха Песталоцци. Как известно, Василий Андреевич был преподавателем рус-



Эта старинная акварель дает представление о том, каким образом во времена Жуковского совершали восхождение на горные вершины и ледники Бернских Альп

ского языка великой княгини Александры Федоровны, а через несколько лет станет и наставником великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II.

Однако выбрать в Ивердон, где жил Песталоцци, Василию Андреевичу не удалось. Но он сумел познакомиться с двумя другими известными швейцарскими педагогами — К.В. Бонштеттенем и Ф.Э. Фелленбергом. С обоими у него состоялась, как пишет Жуковский, «приятные» беседы, во время которых говорили, конечно, и о Песталоцци, и о мадам де Сталь, в чьем родовом поместье — Коппе — успел побывать Жуковский, и о проблемах воспитания.

Итогом этих встреч и размышлений поэта не только о воспитании, но и о смысле жизни, о том, что же такое счастье и как его понимают в Швейцарии и России, стала вот эта дневниковая запись: «Грусть от прелести природы и от одиночества. Здешние домики пленительны от того, что в них заметно меньше жить с собою; у нас всё это один убор. М-е Staël многое угадала: воспитание; мечтание на счет лучшего; разговор не раздел, гостеприимство не общелюбие; всё вне себя — следствие воспитания, а этого следствие поверхностность и непостоянство; в провинциях грубое скотство, в больших городах грубая пышность».

Эта дневниковая запись относится к 28 августа, но размышления на эту тему не оставляют Василия Андреевича, и он опять возвращается к ним несколько дней спустя, 5 сентября. «В Швейцарии понял я, что поэтические описания блаженной сельской жизни имеют смысл прозаически справедливый. В этих хижинах обитает независимость, огражденная отеческим правительством: там живут не для того единственно, чтобы тяжким трудом поддерживать физическое бытие свое; но имеют и счастье, правда, простое, неразнообразное, но всё счастье, то есть, свободное наслаждение самим собою».

Жуковский приходит к выводу, что швейцарцы умеют «жить с собой», то есть жить независимо, довольствуясь малым и только тем, что нужно именно тебе. И, возможно, такой образ жизни позволяет обрести счастье. И еще интересная мысль — «гостеприимство не общелюбие». Жуковского отмечает здесь то отличие швейцарцев и русских, которое потом будет всегда мешать русским любить не только швейцарскую природу, но и образ жизни швейцарцев. Жители этой страны не хотят любить всех, заботиться обо всех, пытаться сделать счастливыми всех. Они строят свой маленький мир, в котором и пытаются достигнуть счастья. Жизненный подход, когда люди живут



Mack, Editeur à Vevey

Deroy lith

Imp. Lemercier à Paris

VEVEY

Набережная города Веве. Здесь гулял Жуковский, приехав в Швейцарию во второй раз в 1833 году. Литография середины XIX века из коллекции автора

«единственно, чтобы тяжким трудом поддерживать бытие свое», неприемлем для русских.

Таким образом, уже во время первого путешествия в Швейцарию Жуковский закладывает два новых кирпичика в фундамент «швейцарской легенды»: швейцарцы — люди, знающие, что такое счастье и как его можно обрести. И это не только простая жизнь на лоне природы, но и умение довольствоваться малым, жить в мире с самим собой. И что немаловажно, они не стремятся при этом осчастливить все человечество.

Покинув берега Женевского озера, вдохновившие его на философские размышления, Жуковский, прежде чем окончательно покинуть Швейцарию, еще раз отправляется в Бернские Альпы, решив поближе взглянуть на знаменитую красавицу Юнгфрау. «Наконец я в Оберленде! И эта последняя часть моего путешествия была самая счастливая, самая богатая живыми, чистыми наслаждениями природы», — пишет Василий Андреевич великой княгине. А в его дневнике можно найти очень отрывочные, но несмотря на это чрезвычайно емкие и удивительно красочные описания увиденного: «Посинелые горы; на них золотые облака; солнечный свет мешал; облака синие

и озеро синее; но просветы полосами; по всем горам облака как кудри; Юнгфрау изредка из облаков. Удивительное действие облаков: в Тунском озере солнце, а по горам легкие золотистые струи; озеро Бриенцское темно, и Лиматт, и горы все открыты, только по краям облака амфитеатром, как взбитая пена (или и как вата по высоте их). Небо разорванное, осеннее. Над Тунским озером оссиановская картина: точно группы туманных воинов с дымящимися головами».

Важный момент. Наблюдая беспрестанное изменение освещения на Юнгфрау, переход от одного состояния природы к другому, Жуковский проводит параллели с жизнью человека: «Душа и несчастье, душа и счастье. Революция и порядок». Возможно уже тогда у него зародились те мысли, которые и приведут позднее к появлению его философской и богословской системы под названием «горная философия». Но о ней мы будем говорить позднее, рассказывая о втором пребывании Жуковского в Швейцарии.

Поэту даже удастся увидеть настоящий ледник. «Путешествие на глетшер. (Перемена плана от дождя.) Ужасная лавина с дымящегося Веттергорна: как растопленная медь, только белая. <> «Всход на глетшер: несколько



Johann Ludwig Aberli: Vue de Vevey.

Возможно, что из дома Жуковского открывался именно такой вид на Веве и Женевское озеро

отверстий голубых пирамиды; журчание; прекрасный вид внутри: туманное жилище между льдистыми скалами; прелестный вид оттуда на долину зеленую».

Потом он поднимается на гору Риги, которая расположена в невероятно живописном месте в окружении трех озер. С ее вершины — Риги-Кульм, находящейся на высоте 1797 метров над уровнем моря, — открывается 360-градусный панорамный вид. Жуковский совершает восхождение на Риги-Кульм и проводит там ночь в уже построенном к тому времени отеле. Его восхищает заход солнца: «Когда солнце зашло, была чудесная минута: запад пылал и Луцернское озеро вместе с ним; в нем отражались томные башни Луцерна, и на всем противоположном небе, под снежными и мертвыми горами, розовые и фиолетовые облака, и ветер в развалинах».

Когда Жуковский оказывается на Рейнском водопаде, его поэтический талант опять дает знать о себе: «... стоишь в хаосе пены, грома и волн, не имеющих никакого образа; и это зрелище без солнца еще величественнее, нежели при солнце: лучи, освещающая волны, дают им некоторую видимую, знакомую форму; но

без лучей всё теряет образ; мимо тебя летают с громом, свистом и ревом какие-то необъятные призраки, которые бросаются вперед, клубятся, вьются, подымаются облаком дыма, взлетают снопом шипящих водяных ракет, один другому пересекают дорогу и, встречаясь, расшибаются вдребезги; словом, картина неописанная». Полюбовавшись на Рейнский водопад, в Шаффхаузене Василий Андреевич, как он пишет, «простился с Швейцарией». Но это не было прощание, хотя поэт об этом еще не подозревал.

На основе дневниковых записей Жуковский подготовил очень подробное письмо, адресованное великой княгине. В 1825 году под названием «Отрывки из письма о Швейцарии» оно было опубликовано в «Поллярной звезде» и на долгие годы стало эстетическим манифестом русского романтизма.

Из путешествия поэт привез не только дневниковые записи, но и множество рисунков. В письме великой княгине Василий Андреевич признается, что «... со вступления моего в Швейцарию открылась во мне болезнь рисования; я рисовал везде, где только мог присесть на свободе, и у меня теперь в кармане



Gabriel Lory fils: Vue de Fluhlen, en Suisse.

Любуясь горными пейзажами Швейцарии, Жуковский размышлял над тем, что станет впоследствии его «горной философией». Лори, Матиас Габриэль (сын). Флюэлен1. Акварель. 1817

почти все озера Швейцарии, несколько долин и долины высоких гор».

Поэт кривил душой, на самом деле он начал рисовать, еще учась в Благородном пансионе при Московском университете, то есть тогда, когда начал писать стихи. Но серьезно увлекся рисованием именно после поездки в Швейцарию. Более того, Василий Андреевич освоил и искусство гравюры. На основе многих своих рисунков он сделал офорты. «Путешествие сделало меня рисовальщиком, я нарисовал au trait (карандашом — Н.Б.) около 80 видов, которые сам выгравировал также au trait», — сообщал поэт в январе 1823 года родственнице и другу, детской писательнице и белевской помещице Анне Зонтаг.

Со времени своего первого путешествия в Швейцарию поэт не расставался с карандашом и признавался, что «живопись и поэзия для него родные сестры». Как мы видим, Швейцария дает толчок развитию не только поэтических, философских, но и художественных дарований. В этом мы еще раз убедимся, когда будем говорить о вкладе художников в формирование «швейцарской легенды».

Часть II. «Горная философия» Жуковского — правила жизни, которыми нужно руководствоваться

Второй раз Василий Андреевич Жуковский оказался в Швейцарии, можно сказать, по воле случая, а точнее, по воле врачей. Это произошло в 1832 году. Жуковский направлялся в Италию на лечение, но решил заехать в Женеву посоветоваться со здешними эскулапами. Выяснилось, что состояние его здоровья весьма неудовлетворительное, длительное путешествие ему противопоказано, и Василий Андреевич остался в Швейцарии. Здесь в мае 1833 года ему сделают операцию, она пройдет успешно, и поэт сможет вернуться в Россию.

Приехав в Швейцарию, Жуковский снял дом в Верне, неподалеку от Ве́е. Образ жизни Василия Андреевича, естественно, соответствовал состоянию его здоровья: «Между тем живу спокойно. И делаю всё, что от меня зависит, чтобы дойти до своей цели — до выздоровления. Живу так уединенно, что в течение пятидесяти дней был только раз в обществе», — записывает он в своем дневнике в январе 1833 года.

Несмотря на неважное самочувствие, поэт не отказывает себе в удовольствии совершать небольшие прогулки по окрестным местам. Тем более, что он их хорошо знает, благо, изучил еще во время своего первого приезда в Швейцарию.

«Мой дом в поэтическом месте, на самом берегу Женевского озера, на краю Симплонской дороги; впереди Савойские горы и Мельерские утесы, слева Монтрё на высоте и Шильон на водах, справа Кларан и Ве́е. Эти имена напоминают тебе и Руссо, и Юлию, и Бейрона», — пишет он в письме своему другу И.И. Козлову.

Жуковский, в отличие от Карамзина, находит, что Жан-Жак Руссо в его «Юлии, или Новой Элоизе» не сумел передать всю прелесть этих мест. В том же письме к И.И. Козлову он так передает свое впечатление о романе Руссо: «И не во гнев тебе будет сказано, нет ничего скучнее «Новой Элоизы», я не мог дочитать ее и в молодости, когда воображению нужны более мечты, нежели истина. Попытался прочесть ее здесь и еще более уверился, что не ошибся в своем отвращении. Для великой здешней природы и для страстей человеческих Руссо не имел ничего, кроме блестящей декламации: он был в свое время лучезарный метеор, но этот метеор лопнул и исчез».

Природа берегов озера Леман не только не разочаровала Жуковского, но и произвела на него еще более сильное впечатление, чем в первый приезд. Во всяком случае в его дневниковых записях и в письмах к друзьям содержатся удивительно поэтичные и живописные описания озера. Позволю себе привести одну достаточно длинную цитату, поскольку это описание Женевского озера поистине достойно пера великого романтического поэта!

«Теперь 4-е января (старого стиля), а на дворе почти весна; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны; не видишь движения, а только его чувствуешь: озеро дышит. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами; по озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут как яркие искры; на горах, между синевою лесов, блестят деревни, хижины, замки; с домов, белыми змеями, выются полосы дыма; иногда в тишине, между огромными горами, которых громады приводят невольно в трепет, вдруг раздается звон часового колокола с башни церковной: этот звон, как

гармоника, промчавшись по воздуху, умолкает, и всё опять удивительно тихо в солнечном свете; он ярко лежит на дороге, на которой там и здесь идет пешеход и за ним его тень. В разных местах слышатся звуки, не нарушающие общей тишины, но еще более оживляющие чувство спокойствия: там далекий лай собаки, там скрип огромного воза, там человеческий голос. Между тем в воздухе удивительная свежесть, есть какой-то запах не весенний, не осенний, а зимний; есть какое-то легкое, горное благоухание, которого не чувствуешь на равнинах. Вот вам картина одного утра на берегах моего озера!»

Жуковский сначала сделал эту запись в дневнике, а позднее включил в чрезвычайно подробное письмо, написанное наследнику престола великому князю Александру Николаевичу — будущему императору Александру II, воспитателем которого он являлся с 1825 года. Великому князю в тот год исполнилось пятнадцать лет, и Василий Андреевич полагал, что это возраст, когда молодой человек, как он писал, расстается с «ребячеством и юношеством» и вступает во взрослую жизнь, где слова о «высоком знаменовании его будущего» уже становятся не просто чем-то абстрактным, а приобретают реальные очертания. И Жуковский считал своим долгом подготовить воспитанника к этому столь ответственному моменту.

Именно об этом письме, написанном Жуковским великому князю, мы и будем говорить подробно, поскольку в нем Василий Андреевич сформулировал понятие «горная философия», которое, будучи важным для русской философской мысли, внесло и нечто новое и весьма необычное в становление «швейцарской легенды». Эта философия — квинтэссенция размышлений поэта о природе и связи процессов, там протекающих, с жизнью человека; о нравственном смысле истории и о границах дозволенного и недозволенного в осуществлении той роли, которую играет человек в исторических процессах. Поскольку Жуковский был глубоко верующим человеком, это еще и рассуждения о Божьей воле и о Предопределении в жизни человека и общества.

Надо сказать, что Жуковский всегда любил писать о горах, они постоянно присутствовали в его стихотворениях и поэмах и раньше. Во время первого путешествия Жуковского по Швейцарии горы владели его воображением больше, чем что-либо другое. Он, как мы знаем, совершал восхождение на перевалы, названия почти всех самых известных швейцарских вершин встречаются в его дневниках. В описаниях картин швейцарской природы постоянно присутствуют такие слова как «скалы», «утесы», «вершины», «высота», «вверх». Горы у Жуковского — это не просто часть пейзажа, а символическое олицетворение некоего духовного мира, где, как и в мире людей, происходит постоянная борьба темных и светлых сил. В результате, горы, как феномен природы, превращаются по словам замечательного литературоведа Ю.М. Лотмана в один



Франц Крюгер. Портрет великого князя Александра Николаевича в форме лейб-гвардии Гусарского полка. 1833. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

из способов «пространственного конструирования мира в сознании человека».

Теперь, когда Василий Андреевич второй раз приехал в Швейцарию, горы вновь занимают его мысли. Описывая виды, открывающиеся ему из Верне, он вновь и вновь говорит о горных пейзажах. Со стороны Женевы — протянулась «голубая, однообразная стена Юры», созерцание которой умиротворяет душу. В природе, в широком смысле слова, поэт ценит то, что она дает для души человека. Жуковский постоянно пишет об этом: «Природа, окружавшая меня, была прелестна, но главная прелесть окружающего есть наша душа, есть то чувство, которое она приносит к святилищу

природы»; «Красоты природы в нашей душе; надобно быть в ладу с собою, чтоб ими наслаждаться».

А вот на другой стороне озера перед ним открывается картина скорее драматичная. «На противной, Савойской стороне, поднимаются горы более огромные, и представляют ужасный хаос утесов, разорванных, растреснутых, разделенных глубокими долинами, в которых теперь белеет снег, тогда как самые утесы, сиенющие от еловых лесов, покрывающих бока их, имеют вид необъятного, оцепенелого, изрубленного трупa. Эти горы, возвышаясь, сходятся с противоположными и стесняются в глубокую долину, по которой течет Рона, впадающая близ Вильнёва в Женевское озеро».

Лицемерие громадин, напоминающих «изрубленный труп», вызывает не только тревогу, но и наводит поэта на мысли о могуществе человеческого разума, способного охватить внутренним взором все происходящее не только сейчас, но и в далеком прошлом. «И мне было бы весьма душно от их ужасающей взоры огромности, когда бы мне не сопутствовал другой великан, который может без страха с ними соперничать: этот великан есть мысль, могущая не только в одну минуту подняться на их неприступные высоты, но, перелетев века и пространство, присутствовать при их рождении...»

Главное, у людей есть возможность не только увидеть все происходящее в природе, но и осмыслить эти процессы и извлечь из них выводы. Жуковский находит большое сходство в том, что происходит в природе, с теми, которые внимательный наблюдатель увидит и в обществе. Он пишет о том, что все этапы его становления сопровождалось, так же, как и при рождении мира природы, хаосом, жестокостью и потрясениями. И по сей день здесь постоянно происходят обвалы и крушения. «Какое сходство в Истории этих безжизненных великанов с Историей живого человеческого рода!» — вырывается у него восклицание.

Но Василий Андреевич верит в то, что в жизни человечества, как и в жизни природы, периоды хаоса, разрушений сменяются покоем и движением вперед. В этом он и видит суть своей философии гор. Проводя параллель между процессами, происходящими в природе и ходом человеческой истории, он пишет: «Иногда движение кажется бурей: бездна кипит; но вдруг все гладко и чисто; — и в этом за минуту столь безобразном хаосе вод спокойно отражается чистое небо. Вот вам философия здешних гор».

Чтобы сделать свою мысль еще более понятной, Жуковский рассказывает такой эпизод, в котором он уже прямо называет свои размышления «горной философией».

«Еще один маленький отрывок, — пишет он, — из той же горной философии: проезжая сюда через кантон Швиц, я видел на прекрасной долине, между Цюрихским и Ловерцким озером, развалины горы, задавившей на двадцать лет несколько деревень и обратившей своим падением райскую область в пустыню». Далее поэт рассказывает о том, что рядом в плодородной долине когда-то произошел такой же обвал, но теперь там вновь плодородные земли. Однако, для того, чтобы возродилась жизнь, должно было пройти несколько веков.

И далее следует самый важный вывод «горной философии» — о губительности насилия. «Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, — бурным ли бешенством толпы, дерзкою ли властью одного! Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслью, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодоносною».

Заключает Жуковский свое послание рассуждением о том, что какими бы высокими целями ни руководствовался человек, они не оправдывают насильственных средств их достижения: «... истинное зло, хотя бы и было благотельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага. < > Одним словом, живи и давай жить; а паче всего блюди Божию правду. Но довольно. От моей горной философии и письмо мое сделалось горою. Прощайте».

Отрывки из письма В.А. Жуковского великому князю Александру Николаевичу были напечатаны в таких популярных изданиях того времени как «Полярная звезда» и «Московский телеграф». А позднее основной текст письма был опубликован в журнале «Библиотека для чтения» под заглавием «Две Всемирныя Истории: Отрывок письма из Швейцарии».

Итак, пребывание Жуковского в Швейцарии в 1832–1833 годах способствовало появлению на свет новой философии, которая, безусловно, оказала влияние на значительные круги российской образованной публики. Можно говорить и о ее воздействии на воспитанника поэта будущего императора Александра II. К такому выводу приходит, например, А.Ю. Андреев, видный исследователь философского и богословского учения Жуковского. Он пишет: «И, памятуя о действительно сильном влиянии Жуковского на молодого Александра II, можно без преувеличения сказать, что сама личность «царя-освободителя», его последовательная приверженность к созидательным реформам, позволившая осуществить вековую потребность России и отменить крепостное право, а также дать толчок к развитию институтов гражданского общества — все это закладывалось на основе текстов, подготовленных на швейцарской земле».

Таким образом, благодаря В.А. Жуковскому появляется несколько весьма важных элементов «швейцарской легенды». После первого пребывания в Швейцарии Жуковский пришел к выводу о том, что швейцарцы — люди, знающие, что такое счастье. Но счастливы они не только потому, что живут на лоне природы, как полагал Руссо. Важно и другое: они умеют довольствоваться малым, работают, чтобы обеспечить себя и свою семью и не стремятся, в отличие от русских, очастливить все человечество.

На берегах Женевского озера также зарождаются философские концепции, в частности, «горная философия», оказавшая определенное влияние на развитие политических и социальных процессов в России. Остается только сожалеть, что не все в России прислушались к выводам, сделанным Жуковским о вреде насилия, более того, о его бессмысленности. В дальнейшем страна пошла по пути революции, и в итоге произошел тот самый горный обвал, похоронивший под собой плодородную долину. Именно этого так опасался великий поэт и философ. **ИБ**

КАРАМЗИН, или В Швейцарию нужно ездить набираться ума-разума

Наталия Беглова

Большинство из нас знает о бесценном вкладе Николая Михайловича Карамзина в изучение истории страны — о его многотомной «Истории государства Российского». Этот труд произвел неизгладимое впечатление на современников. Его читали и продолжают читать вот уже более двухсот лет. В моей жизни был такой эпизод. Я готовилась к поступлению в институт, мне надо было сдавать экзамен по истории России, и я отправилась за консультацией к одному известному профессору, преподававшему историю в МГУ. Первым делом он спросил меня: «Как вы готовитесь к экзамену? Я надеюсь, Вы читаете Карамзина?» Узнав, что я его не читала, он отправил меня домой и велел вернуться через месяц, проштудировав «Историю государства Российского».

Но далеко не всем известно, что, будучи совсем молодым человеком, Карамзин совершил длительное путешествие по Европе, посетил в том числе и Швейцарию, и описал свои впечатления в «Письмах русского путешественника» (Далее — «Письма»).

Надо сказать, что еще в XV веке жители Московии побывали в Швейцарии и так описали ее: «Горы же те <...> толико же высоци суть, облаци впол их ходят <...>. В лете же вар и зной велик в них, но снег жен не таяше». Но, даже три столетия спустя, в XVIII веке, лишь единицы добирались до Швейцарии и чаще всего оказывались здесь проездом. Правда, были и такие, кто поселился здесь, покинув Россию из-за конфликта с

властями. Так, спасаясь гнева Петра I, бежали из России и осели в Женеве в 1730 году братья Авраам и Федор Веселовские. Авраам жил в городе вплоть до 1783 года. Оба брата поддерживали связи с близкими и друзьями на Родине. Их письма содержали немало информации о жизни Женевы и других городов, в которых им довелось побывать. Интересно отметить, что Веселовские водили дружбу с Вольтером и не только сами общались с ним, но и знакомили приезжавших из России друзей с «фернейским философом» или с «фернейским патриархом», как он называл себя сам.

Начиная со второй половины XVIII века, в Женеве появляются русские, приезжающие учиться в Женевскую Академию, основанную Кальвином. Среди них



Н.М. Карамзин. Гравюра Н. Липса с оригинала Кюнеля. 1801 г.

людей. На самом деле до середины XIX века количество было очень небольшим. Одновременно здесь могло находиться до шести путешественников. Если раньше сюда в основном приезжали выходцы из аристократических семей, то постепенно здесь появляется все больше представителей незнатных дворянских фамилий. Все шире круг тех, кто хочет посмотреть на сказочную землю: «В Швейцарию отправляются историки, общественные и государственные деятели, экономисты, публицисты, поэты, философы — без преувеличения можно сказать, что интеллектуальная элита российского общества считала своим долгом посетить «альпийскую республику»». Но главное, «с конца XVIII в. происходят разительные изменения в характере, целях и маршрутах путешествий россиян».

В значительной степени все эти изменения связаны с выходом в свет «Писем» Николая Михайловича Карамзина. Можно с уверенностью говорить о том, что настоящему Швейцарию в России узнали и полюбили благодаря Карамзину. После его «Писем» в Швейцарию отправляются не только те, кто был вынужден покинуть Россию, не для того, чтобы получить образование или подлечиться, но с тем, чтобы открыть для себя мир швейцарской природы и посмотреть на людей, живущих в согласии с ней. Благодаря «Письмам» начинается новая страница в истории путешествий русских в страну, которую в те времена часто называют «Новой Аркадией».

Сам Карамзин с юных лет испытывал интерес к швейцарской культуре, в частности, к литературе этой страны. Еще в очень ранней юности Карамзин перевел

«В Швейцарию отправляются историки, общественные и государственные деятели, экономисты, публицисты, поэты, философы — без преувеличения можно сказать, что интеллектуальная элита российского общества считала своим долгом посетить “альпийскую республику”».

отпрыски таких известных аристократических семей как Воронцовы, Голицыны, Демидовы, Разумовские, Салтыковы, Строгановы. Помимо образовательных задач ставятся и иные цели. Так, Григорий Разумовский, сын президента Петербургской Академии наук графа А.К. Разумовского, более десяти лет провел в Лозанне, где занимался исследованиями минералогического состава близлежащих гор и озер. Приезжали из России и для лечения, ибо уже тогда было известно о целебных свойствах швейцарских источников. В это время можно уже говорить и о том, что русские путешественники специально отправлялись в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с ней. Конечно, во многом этому способствовал успех в России произведения Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Постепенно происходит значительное изменение в составе русских путешественников, отправляющихся в Швейцарию. Когда мы говорим о путешественниках, нашему воображению рисуются десятки, если не сотни

стихи в прозе «Деревянная нога» Соломона Гесснера, а вслед за этим и поэму Галлера «О происхождении зла».

Решение Карамзина отправиться в путешествие по Швейцарии, безусловно, не в последнюю очередь было вызвано и стремлением увидеть альпийские луга, заснеженные горные вершины, так прекрасно описанные в стихотворениях Галлера и Гесснера. Но все-таки, главным для Николая Михайловича было посетить места, связанные с романом Руссо. Как мы уже знаем, Карамзин был большим поклонником Жан-Жака Руссо и восхищался его «Юлией, или Новой Элоизой». Поэтому неудивительно, что, планируя поездку по Европе, он намеревался заехать и в Швейцарию — страну своего кумира, причем собирался остаться здесь на более длительное время, чем в других странах.

В планах Карамзина было посещение еще нескольких европейских стран. Важным пунктом поездки значилась Англия. Почему же Швейцария и Англия занимали ум Карамзина? Дело в том, что он был поклон-

ником не только Руссо, но и Вольтера. Мы уже знаем, что эти два философа и писателя были настоящими, выражаясь современным языком, идеологическими противниками. Замечательный литературовед Юрий Михайлович Лотман так сформулировал сверхзадачу, которую ставил перед собой Николай Карамзин, планируя посетить Швейцарию и Англию: «Патриархальности Швейцарии противостоял идеал «просвещенности» — Англия. В конечном счете, это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера. Карамзин испытал сильное влияние и того и другого, и желание произвести «следствие на месте» над идеями двух апостолов Просвещения XVIII века было одной из побудительных причин путешествия».

Карамзин с удовольствием готовился к поездке, он радовался возможности увидеть новые страны, полагал, что свежие впечатления благотворны для человека. Не случайно его записки открываются утверждением о том, что путешествие «...питательно для духа и сердца нашего», а потому он призывает соотечественников: «Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество!»

Николай Михайлович был далеко не первым русским, совершившим путешествие за границу. Он сам признавал это, но полагал, что был первым, кто вел подробные записки своих впечатлений: «Наши соотечественники давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал это с пером в руках. Автору сих писем первому явилась эта мысль...»

Здесь требуется небольшое уточнение. Считается, что «Письма» Карамзина положили начало новому жанру русской литературы — запискам путешественника. Это не совсем так. Другой русский писатель — Денис Иванович Фонвизин — еще до Карамзина написал письма о своем посещении Франции в 1777–1778 годах. Но предпринятая им попытка напечатать их в 1780 году, включив в состав собрания сочинений, закончилась неудачей. Екатерина II, видевшая во многих произведениях писателя плохо прикрытую критику российской политической системы, запретила публикацию его сочинений. В итоге полностью письма Фонвизина из Франции увидели свет гораздо позднее «Писем» Карамзина.

Итак, Карамзин берет на себя труд путешествовать «с пером в руках» и открывать русскому читателю те страны Европы, которые он намеревается посетить. На протяжении всего путешествия он ведет дневник, который и ляжет в основу его книги. В пути он фиксирует увиденное, записывает услышанное, делится своими впечатлениями, размышлениями, рассказывает о встречах и беседах с писателями и философами.

Отправился Николай Михайлович в поездку в мае 1789 года, а вернулся в Петербург в июле 1790 года, то есть путешествие продолжалось больше года, а точнее почти четырнадцать месяцев. В Швейцарии он провел около семи месяцев — с начала августа 1789 года до на-



Титульный лист «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина. 1797

чала марта 1790 года. Для сравнения: в Англии молодой человек провел около двух с половиной месяцев.

Сначала Карамзин посетил Германию, а затем отправился в Швейцарию. О том, с каким нетерпением он ждал встречи с этой страной, свидетельствуют вот эти строки: «Итак я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве». Интересно, что в первой журнальной редакции было написано иначе: «земле свободы и счастья». Прошло несколько лет, юношеские иллюзии уступили место скептицизму, и Карамзин предпочел заменить слово «счастье» более нейтральным — «благополучие».

Но для юного Карамзина приезд в Швейцарию — это встреча со страной, живущей в соответствии с его либеральными мечтаниями, со страной счастливых людей. Он прямо пишет об этом: «Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые друзья мои. Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две,



Примерно такой, как на этой швейцарской гравюре, представлялась молодому Карамзину сказочная страна Швейцария, где даже крестьяне счастливы. Лорц, Матиас Габриэль (сын), Юрлиман, Иоганн. Завтрак на природе. Гравюра, раскрашенная акварелью. 1829. Художественный музей Берна

я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение...»

Это очень важный отрывок из «Писем». Обратите внимание на то, в чем видит Карамзин счастье швейцарцев. Совершенно очевидно: для него счастье состоит не только в том, чтобы жить «в объятиях прелестной природы». Главное то, что в стране действуют справедливые законы «братского союза». Конец фразы еще более показателен: жители этой страны служат не царю, не властьпредержащим, а «одному богу»! Смелые и весьма злободневные слова, которые могли отозваться для молодого человека не самым благоприятным образом. Вероятно, поэтому он несколько смягчил и эту фразу в окончательной редакции, стремясь, чтобы она не была воспринята как его призыв не повиноваться властям.

В одной из первых швейцарских деревушек он становится свидетелем эпизода, который поражает его. Жители задержали какого-то парня за мелкое воровство: он

украл в лавке два талера. Воришка — не швейцарец, он забрел сюда из Германии. Жители деревни поражены, у них никто никогда не воровал. Не меньше их поражен и Карамзин: «Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особенно воровства, которое считается здесь за великое злодеяние. О разбоях и убийствах совсем не слышно; мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции».

Вот она, Швейцария — страна, где воистину царят нравы «золотого века». И объясняется это, не в последнюю очередь, тем, что люди живут здесь в гармонии с природой. Карамзин продолжает следовать за своим кумиром Руссо, когда из-под его пера выходят строки о том, что именно жизнь на лоне природы, вдали от сложностей и соблазнов цивилизованного мира, может дать человеку счастье.

«Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастью, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту природы человеческой — когда сердце мое отвергается впечатле-

ниям красот природы — чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного».

Швейцария для Карамзина не только страна красивой природы, но и выдающихся поэтов, ученых и философов. В Цюрихе, первом городе, который он посетил, Николай Михайлович спешит нанести визит Иоганну Каспару Лафатеру (швейцарский писатель, богослов и поэт, писал на немецком языке. Заложил основы криминальной антропологии — Н.Б.), с которым он переписывался и у которого искал ответы на многие вопросы, мучившие его. Надо сказать, что цюрихский богослов, литератор и философ, пользовавшийся дружеским расположением Гете, был в те годы человеком весьма именитым, с которым искали встречи и люди гораздо более известные, чем молодой начинающий литератор, каким был в то время Карамзин. Так, наследник русского престола, великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I, путешествовавший по Европе под именем «князя Северного», специально приезжал в Цюрих в сентябре 1782 для встречи с Лафатером.

Карамзин несколько раз навещал Лафатера и был покорен умом цюрихского богослова, его доброжелательностью и простотой обхождения, он также высоко оценил ту благотворительную деятельность, которой швейцарец посвящал немало времени. Особенно интересовали молодого человека исследования Лафатера в области физиогномики, в частности, его утверждение о том, что имеется связь между чертами лица и свойствами характера. Цюрихский ученый считал: как неповторима внешность людей, так бесконечно своеобразны характеры, и посредством изучения черт лица можно проникнуть в душу человека. Карамзин назвал Лафатера «физиогномическим колдуном».

Чем дальше писатель путешествует по Швейцарии, тем больше восхищают его уже не только красоты ее природы, но и то, как живут здесь люди. Особенно поражает его состояние деревень.

«В деревнях находите вы порядок и чистоту. Все крестьянские дома покрыты соломой и разделяются обыкновенно на две половины: одна состоит из двух горниц и кухни, а другая — из сеного магазина, житниц и хлебов. Не увидите вы здесь ничего гниющего, непочиненного; во всем соблюдена удобность и все необходимое в изобилии и совершенстве».

И чем же объясняется такая чистота и порядок, царившие в деревнях? «Сие, можно сказать, цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее оттого, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов».

По Карамзину, благосостояние швейцарцев неразрывно связано с их свободой. Для жителя России, где крестьяне до сих пор находятся в состоянии рабства, весьма смелое утверждение.

И все-таки Николай Михайлович не настолько наивен, как может показаться. Он прекрасно отдает себе



Иоганн Каспар Лафатер. Гравюра, раскрашенная акварелью. 1790. Британский музей

отчет в том, что, хотя условия жизни сельских жителей Швейцарии и отличаются в лучшую сторону от существования крестьян в России, бедность существует и здесь. Оказавшись в Бернских Альпах, он делает и такую запись: «Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и — может быть — спокойствия». Благополучие большинства жителей страны не смогли полностью заслонить от молодого человека того, что неравенство существует и здесь, в краю сказочной природы и довольства.

Всякая медаль имеет две стороны. Благополучие, высокий уровень жизни приводят к дороговизне. И Карамзин не преминул это констатировать.

«Я слышал прежде, будто в Швейцарии жить дешево; теперь могу сказать, что это неправда и что здесь все гораздо дороже, нежели в Германии, например, хлеб, мясо, дрова, платье, обувь и прочие необходимости. Причина сей дороговизны есть богатство швейцарцев. Где богаты люди, там дешевы деньги; где дешевы деньги, там дороги вещи. Обед в трактире стоит здесь восемь гривен; то же самое платил я в Базеле и в Шафгаузене. Правда, что в швейцарских трактирах никогда не подают на стол



«Славнейший альпийский водопад» Райхенбах, лицезреть который юный Карамзин едва не лишился чувств. Старинная гравюра, раскрашенная акварелью

менее семи или восьми хорошо приготовленных блюд и потом десерт на четырех или на пяти тарелках».

Карамзина поражает уровень образованности жителей страны, а также их нелюбовь к праздному времяпровождению. «Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! Вы здесь неизвестны», — констатирует он. Чем же занимают себя горожане? Карамзин наблюдает, как несколько женщин, собравшись вместе «...работают или читают Гесснера, Клопштока, Томсона и других писателей и поэтов». Оказавшись в Кларане, Карамзин с удивлением узнает, что местные жители читали «Новую Элоизу» и они «...весьма довольны тем, что великий Руссо прославил их родину, сделав ее сценою своего романа». Более того, простой крестьянин интересуется у него с усмешкой: «Барин, конечно, читал «Новую Элоизу»? Когда же он пытается найти то место, где встречались герои романа, то почтенного возраста селянин показывает ему «...тот лесок, в котором, по Руссову описанию, Юлия поцеловала в первый раз страстного Сен-Прё».

Российский писатель отмечает: мало того, что в Швейцарии живут в довольстве и счастье, но в стране существует и довольно высокий уровень культуры. Карамзин понимает, что культура — это не только всеоб-

щая грамотность, привычка к чистоте и аккуратности, любовь к литературе и искусству. Культура для Карамзина — это и залог соблюдения нравственных законов, норм поведения. И в этом плане России есть чему поучиться у Швейцарии.

Таким образом, «Письма» Карамзина внесли несколько новых элементов в «швейцарский миф»: в этой стране довольство граждан основано на свободе, и в Швейцарии высокий уровень культуры. Если раньше уже говорили о свободолюбии швейцарцев, то русский писатель показал, для чего нужна эта свобода. Без свободы невозможно процветание гражданского общества, не может быть и эффективного процесса воспитания и обучения населения.

Путешествие по Швейцарии было бы неполным, если бы Николай Михайлович не побывал в Альпах. Огромное впечатление произвели на юного Карамзина швейцарские водопады, особенно один из них — Райхенбах: «Еще шагов за пятьдесят от падения облака сей пыли меня почти совсем ослепили. Однако ж я подошел к самому кипящему водоему, или той яростию воды ископанной яме, в которую Райхенбах падает с высоты своей с ужасным шумом, ревом, громом, срывая превеликие камни и целые деревья, им на пути встречаемые. Трудно представить себе ту ужасную быстроту, с которою волна за волною несется в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверх подымается, будучи отвержена его вечно кипящую пучиною и распространяя вокруг себя белые облака влажного дыму!»

Эмоции, испытанные молодым человеком, настолько сильны, что он чуть не лишается чувств: «Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!.. Рейн и Рейхенбах, великолепные явления, величественные чудеса природы! В молчании удивляться будет вам всякий, имеющий чувство; но кто может изобразить вас кистию или словами? — Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен гремящим громом падения, и упал на землю».

Оказавшись в Гриндельвальде, Карамзин с восхищением наблюдает восход луны над Юнгфрау: «Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осеребрет гранитные скалы, возвышает густую зелень сосен и блистает на вершине Юнгферы (Юнгфрау — Н.Б.), одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось; самые бури не могут до них возноситься; одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их — здесь конец земного творения!..»

На следующий день на рассвете Николай Михайлович с проводником отправляется на высокогорное плато Венгернальп (высокогорное плато в Обернвальде — Н.Б.): «Я вооружился геркулесовскою палицею — пошел — с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростию начал взбираться на крутизны». Подъем дается нелегко, ему даже не до



Gabriel Lory fils: Alpabzug.

Вот таких пастухов и пастушек встречал Карамзин в швейцарских Альпах. Габриэль Лори-сын. Возвращение с горных пастбищ. Акварель. 1804

«...Когда после четырех часов восхождения он достиг вершины горы, с ним происходит нечто удивительное: «Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце»».

того, чтобы любоваться на открывающийся вид на Юнгфрау, Мёнх и Эйгер. Но зато, когда после четырех часов восхождения он достиг вершины горы, с ним происходит нечто удивительное: «Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления — тому, кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность!.. Друзья мои! Я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту».

Невольно вспоминается герой поэмы Байрона «Манфред». Оказавшись на вершине Юнгфрау, он полон сом-

нений и терзаний, готов покончить с жизнью. Какой контраст по сравнению с тем чувством вдохновения, ощущения своей силы и душевного подъема, которое испытывает Карамзин! Как очень точно подметил российский исследователь «Писем русского путешественника» А. Кара-Мурза, Карамзин ощутил себя «сверхчеловеком, приблизившимся к Божеству (недаром он уподобляет свою дорожную палку «Геркулесовской палице»)».

Так, благодаря Карамзину, рождается еще один элемент швейцарского мифа: отправляясь в швейцарские горы, вы можете испытать себя, узнать, на что вы способны. И если вы покорите вершину, то почувствуете себя, как бы сказали сегодня, суперменом. И я полагаю, что не одно поколение русских путешественников, вдохновленное этим отрывком из «Писем», будет совершать восхождение в горы, чтобы испытать эмоции,



Wengernalp
vors l'Eiger Mönch et Jungfrau.

Fürich chez P. Dillenmann Peintre.

Венгернальп. Именно отсюда любовался Карамзин на Юнгфрау, Мёнх и Эйгер. Акваинта, раскрашенная гуашью. XIX век. Из коллекции автора

подобные испытанным Карамзиным, и хотя бы на миг почувствовать себя всемогущим.

Альпы не были бы Альпами, если бы Николай Михайлович не увидел там пастухов и пастушек. Причем, столь приветливых и счастливых, что у него появляется желание, пусть и мимолетное, поселиться здесь, на этой земле. Однажды, встретив в горах двух молодых крестьянок, он заявил им, «что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится и что я хочу остаться у них и вместе с ними доить коров». И что же крестьянки? Они отвечали ему смехом. Но такая реакция жительниц волшебных Альп не обескуражила нашего героя. Он испытывал мощный прилив положительных эмоций, ощущал превосходство перед кем бы то ни было, и ему казалось в тот момент, что «...низки передо мною все великаны земного шара!» Еще одно подтверждение того, о чем писалось выше: в горах вы можете ощутить себя сверхчеловеком!

Завершил Карамзин свое путешествие по Швейцарии в Женеве, где пробыл дольше всего. Видимо, это входило в его планы, но вмешалась еще и болезнь, что заставило Карамзина провести здесь целых пять месяцев — со 2 ок-

тября 1789 года по 1 марта 1790 года. Остановился он по адресу: Гран Рю, No. 17 (современная нумерация иная — No. 14) — совсем недалеко от дома, где родился кумир его юности Жан-Жак Руссо. Но «фернейского патриарха» уже нет в живых. Зато в окрестностях Женевы в местечке Жанто живет Шарль Бонне — другой швейцарский философ, которого Карамзин называет «великим» и с которым жаждет встретиться. «Вы, может быть, удивляетесь, друзья мои, — пишет он, — что я по сие время ничего не говорил вам о великом Боннете (Бонне — Н.Б.), который живет верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту (Генто — Н.Б.). Мне сказали, что он весьма нездоров, глух и слеп и никого, кроме ближних родственников, не принимает, почему я не имел надежды видеть сего славного Философа и Натуралиста». Карамзину все-таки удалось познакомиться с Бонне, и Николай Михайлович не преминул сообщить философу, что он «... с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения».

Жан-Жак Руссо, Галлер, Гесснер, Лафатер, Бонне... Карамзин знает этих писателей, философов, ученых, читает их произведения. В Швейцарии он встречает людей,



Zurich

prise de l'église de St. Pierre.

Zurich chez M. Dikeman Paintre.

Таким увидел город Николай Михайлович, но понравились ему там лишь несколько «публичных зданий», которые и можно увидеть на этой гравюре середины XIX века. Коллекция автора

чьим интеллектом и талантом восхищается. Они живут интенсивной интеллектуальной жизнью, открывают новые законы природы и общества. Русская публика, прочитав «Письма» Карамзина, ясно увидит: в стране-сказке живут не только пастушки и пастушки, но и интеллектуалы, у которых не стыдно поучиться уму-разуму.

Конечно, молодой человек не забывал и о волшебной швейцарской природе и совершал небольшие поездки по окрестностям Женевы. Его описания Женевского озера, пожалуй, самый восторженный пассаж «Писем».

«Все Женевское светлое озеро, как зеркало, представляется глазам моим — по сю сторону множество городов, деревень, сельских домиков, лугов, лесочков и дорог, которые одна другую пересекают, расходятся и опять соединяются и на которых движутся люди, как деятельные муравьи, — а по ту сторону, на савойском берегу, страшные скалы, несколько хижин и, наконец, гордая Белая гора (Монблан — Н.Б.) в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красивой солнечными лучами, — как царица среди прочих окружающих ее гор, высоких и гордых, но перед нею низких и смиренных... Вознося к небесам главу

свою, она вопрошает Европу: «Что выше меня?», и Европа отвечает ей почтительным молчанием.

Насыщайся, мое зрение! Я должен оставить сию землю... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю хижину на голубой Юре, и жизнь моя протечет, как восхитительный сон!.. Но ах! Здесь нет друзей моих!

Величественный рельеф природы! Впечатлесь в моей памяти! Увижу ли тебя еще раз в жизни моей, не знаю; но если огнедышащие вулканы не превратят в пепел красот твоих — если земля не расступится под тобою, не осушит сего светлого озера и не поглотит берегов его — ты будешь всегда удивлением смертных! Может быть, дети друзей моих придут на сие место, да чувствуют они, что я теперь чувствую, и Юра будет для них незабвенна!

Солнце закатилось, но горы блистают. Темнеет синяя твердь — еще сияют три холма Белой горы. Шумит ветер — облака показываются на западе, разливаются по небу, и мрачная завеса скрывает от глаз моих великолепную картину».

Сколько бы ни видел Николай Михайлович прекрасных картин природы, они не перестают доставлять ему на-



Н.М. Карамзин

слаждение: «Если бы теперь спросили меня: «Чем нельзя никогда насытиться?», то я отвечал бы: «Хорошими видами». Сколько я видел прекрасных мест! И при всем том смотрю на новые с самым живейшим удовольствием».

Может сложиться впечатление, что Карамзину все по душе в Швейцарии. Это не так. Молодому человеку очень не нравятся швейцарские города. Вот лишь несколько высказываний о тех, что он посетил.

Базель. «Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травой».

Цюрих. «О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных до-

мов, а многие улицы или переулки не будут и в сажень шириною».

А вот его описание Лозанны. «На другой день поутру исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены».

Лишь о Женеве Николай Михайлович снисходительно скажет, что не только окрестности прекрасны, но и «город хорош».

Поначалу не приглянулись молодому человеку швейцарки: «... женщины здесь отменно дурны; по крайней мере, я не видал ни одной хорошей, ни одной изрядной». Но вскоре он изменит свое мнение, поскольку в доме одного священника, увидев двух его дочерей, напишет, что они «...всякому живописцу могли бы служить образцом



Мемориальная доска на доме в Женеве, где жил Н.М. Карамзин

«Сколь прекрасна здесь натура, столь прекрасны и люди, а особливо женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горные розы, — и почти всякая могла бы представлять нежную Флору».

красоты...» А позже в горах, встретит не одну красавицу и напишет: «Сколь прекрасна здесь натура, столь прекрасны и люди, а особливо женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горные розы, — и почти всякая могла бы представлять нежную Флору».

В самом начале марта 1790 года Карамзин покинул Женеву и направился в Лион, а далее в Париж. Но мы не последуем за ним во Францию, а закончим здесь рассказ о заграничном путешествии Карамзина.

Вернувшись летом 1790 года в Россию, Николай Михайлович привел в порядок записи и решил их опубликовать. Первые «Письма» появились в 1791 году в «Московском Журнале», который начал издавать сам Карамзин. В силу различных обстоятельств работа над «Письмами» то продолжалась, то прерывалась, и в итоге первое полное издание «Писем русского путешественника» появилось только в 1801 году, после смерти Павла I. Книга произвела большое впечатление, именно благодаря ей Карамзин превратился в известного писателя. При жизни Николая Михайловича «Письма» трижды печатались в составе собрания его сочинений.

«Письма» Карамзина открыли Швейцарию российской читающей публике, проложили дорогу русским путешественникам. Как поклонники Байрона и Гете будут повторять маршруты, пройденные их кумирами, так те русские XIX века, которым повезет оказаться в Швейцарии, будут стремиться увидеть все места, описанные

Карамзиным в его произведении: посетить Базель и Цюрих, Женеву и Люцерну, погулять по берегам Женевского и Невшательского озер и непременно хоть одним глазком взглянуть на чудо из чудес — «два снежные холма, девическим грудям подобные».

Но заслуга его «Писем», конечно, и не только и не столько в этом. Начиная с Карамзина, «швейцарская легенда», и в более широком смысле — швейцарская тема становится частью культуры России. Вот что написал о произведении Карамзина известный писатель М. Шишкин: «Письма» Карамзина — не только удивительный односторонний договор об аннексии ничего не подозревающей страны, своеобразный акт о включении Швейцарии в русскую культуру, это и генеральная диспозиция с установкой ориентиров и цели, план движения, закодированный завет блуждающей русской душе. Будущий автор многотомной русской истории, пропитанной кровью, пущенной для высших потребностей, ставит своим читателям вешки обыкновенного земного счастья».

Карамзин не только рассказал русскому читателю о другой стране, но и о другой жизни. О жизни, когда во главу угла ставятся не абстрактные интересы страны, а интересы каждого человека, каждой личности. Счастье человека является залогом процветания общества. А счастья не может быть без свободы каждого члена этого общества. ИБ

СВЯТОЙ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Донкихотский подвиг жизни Александра Добролюбова

Тимофей Прокопов

*Как стадо демонов, во мне сто тысяч душ.
И каждая кричит...*

А.М. Добролюбов

Словно из небытия, как бы заново открываемое, американским издательством при институте славянских языков и литератур в Беркли (Berkeley slavic specialties) извлечены были еще в 1981–1983 годах из давно удалившегося прошлого замолчанные, коримые советским литературоведением сочинения одного из первых вождей русского символизма. Это были репринтно воспроизведенные прижизненные сборники стихов декадента-модерниста Александра Михайловича Добролюбова (1876–1945?) с предисловием и комментариями Джона Делане Гроссмана. Ни в Советском Союзе, ни в русском зарубежье уже не было в живых никого из соратников по стихотворчеству, которые хорошо знали поэта-новатора, всегда изумленно его читали и читали.

«Ни в Советском Союзе, ни в русском зарубежье уже не было в живых никого из соратников по стихотворчеству, которые хорошо знали поэта-новатора, всегда изумленно его читали и читали».

С Добролюбовым когда-то близко общались, рецензировали всё им творимое, вспоминали о нем в мемуарах не только те, кто после 1917-го оставались в России (а это были его собратья по учреждаемому ими символизму Валерий Брюсов, Николай Минский, Александр Блок, Андрей Белый), но и те, кто после революци-

онных бурь очутился в изгнании, особенно эмигранты первой волны: Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Борис Зайцев. В парижских эмигрантских кружках тогда же нет-нет да и вспоминалось уважительно (и не очень, как, например, Буниным, не любившим всех модернистов) это имя теми, кто долго еще не знал ответа на вопрос: жив ли поэт там, в «Совдепии»? не попал ли в сталинскую человекорубку?

Изданное американскими славистами не осталось в СССР незамеченным, оно вошло (можно даже громче сказать: ворвалось) как раз в ту пору, когда наши литературоведы только-только начинали заново перечитывать и осваивать полудозволенного, а потому катастрофически быстро забываемого основоположника русского символизма и публиковали о нем статью за статьей: К.М. Азадовский «Блок и Добролюбов» и его же «Путь Александра Добролюбова», Е.В. Иванова «Один из “темных” визитеров» и ее же «Валерий Брюсов и Александр Добролюбов».

Каждая из названных первых современных публикаций о Добролюбове не могла пройти и не прошла мимо события, случившегося весной 1898 года и ставшего главным в судьбе ими вновь открываемого поэта. Было это его свершение, казалось бы, совершенно малопримечательным, хотя и странным, загадочным, эпатажным, а потому с удивлением и тревогою отозвались на него тогда же самые яркие умы Серебряного века нашей литературы — Брюсов, Мережковский, З. Гиппиус, Со-

Александр
Михайлович
Добролюбов.
Фотография
В. В. Гиппиуса,
1890-е годы.
Музей ИРЛИ



логуб, А. Белый, Блок и даже Лев Толстой. А к «юбилею» события, к его столетию, оказались приуроченными (конечно, вряд ли намеренно) две новые исследовательские публикации: статья Е.В. Ивановой «Александр Добролюбов — загадка своего времени» и ставшая интеллектуальным бестселлером монография культуролога Александра Эткинда «Хлыст: Секты, литература и революция», в которой одним из персонажей выведен опять же он, Добролюбов.

Что же это за событие, так заметно потревожившее общественное мнение?

ДЕЛО О НЕУМЕЛОМ КОСЦЕ

Едва отогрело апрельское пылкое солнце поля и пролески, Александр Михайлович Добролюбов, родовитый отпрыск царского сановника, уже названный первым русским символистом, отправился куда глаза глядят, «в народ», из века девятнадцатого в двадцатый, в изгойское странствие на всю свою дальнейшую жизнь. За плечами всего-то двадцатидвухлетнего студента-филолога столичного университета — тощая котомка, на самом дне которой притаил он свой дебютный сборник стихов с таинственным и завлекающим названием, заимствованным у философа Спинозы:

«Natura naturans. Natura naturata» («Природа порождающая. Природа порожденная»). «Свалившийся на голову кирпич» — так окрестили ценители нового стиха эту скромную, однако модернистско-декадентскую — «с причудами» — книжицу. А много позже, в 1930 году, «Литературная энциклопедия» написала: «Это была первая “желтая кофта” русского декадентства».

В рукописном отделе Пушкинского дома Е.В. Иванова, работая над статьей, отыскала важный документ — воспоминания добролюбовского однокашника по гимназии и университету Владимира Васильевича Гиппиуса, ставшего известным поэтом, прозаиком, критиком и «одним из самых выдающихся петербургских преподавателей русской словесности» (С.А. Венгеров). Вот как у него описан канун ухода приятеля в скитальчества:

«Он весь переменялся страшно. В середине лета <...> пошел в Москву, обошел все монас-

«Я спросил, что с ним. <...> Он говорит, что знает истину и должен сказать ее людям. Я спросил, отчего он уходит. Говорит, он должен наказать себя. <...> Он говорил, что не верил, был жесток и не любил людей. Что он любил разное и служил разному, теперь любит единое и служит единому...»

тыри и в августе вернулся в Петербург, чтобы отсюда уехать в Соловецкий монастырь послушником. Я был у него два раза. Он жил в маленькой комнате... В комнате только стол, стул и на полу тюфяк, над ним икона. <...> Я спросил, что с ним. <...> Он говорит, что знает истину и должен сказать ее людям. Я спросил, отчего он уходит. Говорит, он должен наказать себя. <...> Он говорил, что не верил, был жесток и не любил людей. Что он любил разное и служил разному, теперь любит единое и служит единому...»

Пройдя за лето и осень Олонецкую и Архангельскую губернии, к зиме 1898 года «рыцарь странствующего ордена» (так студент назвал себя сам) оказался на студеных Соловках монастырским послушником. А к весне 1900 года, сбросив с ног опостылевшие верижные оковы и цепи «трудника» (он носил их на себе больше года), поэт перебрался в Поволжье. И с той поры следы его то надолго — на годы — теряются, то вновь отыскиваются: или сам подаст весть о себе друзьям и родным, или обнару-

жится, что подозрительный странник под арестом (это случалось с ним не раз и не два).

В «добролюбовской» папке, переданной мне О.П. Вороновой (о ней расскажу дальше), оказался любопытный документ, озаглавленный «Дело о неумелом косце», с подзаголовком: «По материалам Куйбышевского областного архива. Сообщение Ф.Г. Попова». Приведем основной текст этого «дела»:

«Донесение Бузулукского уездного исправника начальнику Самарского губернского жандармского управления от 20 июня 1903 года:

Пристав 2-го стана рапортом от 14 июня донес мне, что на днях в с. Алексеевке он, пристав, узнал, что в Патровке, той же волости, у крестьянина Саблина на покосе с его работниками косил какой-то неумелый косец и, по-видимому, из лиц привилегированного сословия. Пристав прибыл на арендованный Саблиным удельный участок, лежащий близ с. Алексеевки и дер. Ново-Троицкой, и действительно нашел косца не из местных крестьян, хотя он и в крестьянском платье. На спрос пристава, кто он и откуда, неизвестный человек предъявил ему свидетельство, выданное приставом 1-го участка Московской части г. С.-Петербурга от 15 апреля 1903 г. за № 165 сыну действительного статского советника Александру Михайловичу Добролюбову. На спрос пристава, что его заставило нести такую тяжелую работу, Добролюбов ответил, что он любит этот труд — Богом данный, который заповедан Богом Адаму. Затем из слов Добролюбова видно, что он в этой местности уже не в первый раз, бывал в с. Максимовке и других молоканских селениях, вообще держится в среде молоканского населения. По произведенному приставом негласному дознанию об образе жизни Добролюбова выяснилось, что он в праздничные дни бывает на собеседованиях в молоканских молитвенных домах. Предлагает жить по Евангелию, любить ближнего и вообще делиться с нуждающимися и не брать у рабочего львиной доли, а делить пополам, мяса не ест и советует не есть и другим, употреблять в пищу растительные продукты. Идей противоправительственных не высказывает, хотя от молоканского населения трудно узнать истину. В среде молоканского населения он пользуется любовью и большим доверием и бывает у них в свободное время года от работ, в среде же крестьян православного вероисповедания совершенно не держится и почти что с ними не беседует; книг или каких-либо брошюр нелегального содержания не имеет, имущества при себе никакого не имеет.



О вышеизложенном имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие и присовокупить, что за Добролюбовым ведется негласное наблюдение.

Уездный исправник — *подпись*».

Это донесение всего за месяц проделало немалый путь по фискальным инстанциям империи и легло на стол петербургского градоначальника, который 26 июля 1903 года на нем начертал:

«О Добролюбове имеются подробные сведения в розыском циркуляре Департамента полиции от 1 марта 1902 года за № 1514.

Согласно сообщению Департамента полиции от 1 марта с.г., произведенное об А. Добролюбове дознание в порядке 1035 статьи Уст<ава> Угол<овного> Судопроизводства прекращено ввиду признания Добролюбова, в установленном порядке, страдающим расстройством умственных способностей».

Добролюбов, этот блистательный эрудит, «свой» в среде интеллектуальной элиты, — всего лишь сумасшедший? Конечно же, нет! — утверждают его современники, общавшиеся с ним в те годы. Мысль объявить «в установленном порядке» об умственном расстройстве поэта подсказал кто-то его матери (Мария Генриховна была статс-дама, фрейлина двора), чтобы спасти Александра Михайловича от тюрьмы и каторги. И ей это удалось сделать: «непутевого» сына оставили в покое, хотя и не сняв «негласное расследование» и наблюдение.

К этому же времени до столицы докатились

вести и о том, что поэт основал секту добролюбовцев и сочиняет для «братков» духовные песнопения, «крамольные, запретные» псалмы (их в архивах сохранилось много). Для нас же тут важно узнать: «сочиняет». Не сразу, не скоро отпустил его этот дар Божий. Да и отпустил ли? — сомневаются исследователи. Понадобились десятилетия для того, чтобы в нем только унялся, затаился дух творческого горения, но жажда стихотворства так и не уголилась никогда.

По свидетельству современников, Добролюбов (вопреки утверждениям энциклопедических справок о нем) не переставал размышлять и рассуждать о возврате к писательству. И друзья всячески поддерживали в нем это стремление. Брюсов в 1900 году издает вторую книгу странника «Собрание стихов», открыв ее своей первой стиховедческой работой «О русском стихосложении». Здесь же и эссе другого талантливого символиста — Ивана Коневского (Ореуса) «К исследованию личности Добролюбова» (статья стала первой в ряду многих последующих, посвященных духовному миру поэта: эстета? декадента? сектанта-вероотступника?).

В 1905 году, опять же тщанием друзей, появляется третий, и последний, сборник произведений «воинственного монаха русского символизма» (О. Мандельштам) — «Из книги невидИмой» (ударение автора), в которую вошли не только стихи, но и статьи, письма, псалмы.

В поэзии символизма сердцевина ее обличья обнажается прежде всего в мистике, в отвлечении от обыденного и вещного, в некоем воспарении к горнему. И это, конечно же, не могло не отразиться и на образе жизни самих творцов декаданса: в каждом из них виделся неземной ореол романтики, донкихотства, несдерживаемой восторженности или тягостной раздумчивости о бренности жизни. Каждый придумывал свою Дульсинею, Прекрасную Даму (как Блок) и воспевал Вечную Женственность (как Вл. Соловьев), задавался тревожными вопросами, перечисленными в добролюбовском шедевре:

*Встал ли я ночью? утром ли встал?
Свечи задуть иль зажечь приказал?
С кем говорил? один ли молчал?
Что собирал? что потерял?
— Где улыбнулись? Кто зарыдал?*

*Где? на равнине? иль в горной стране?
Отрок ли я, иль звезда в вышине?*

*Вспомнил ли что, иль забыл в полусне?
Я ль над цветком, иль могила на мне?
Я ли весна, иль грущу о весне?*

*Воды ль струятся? кипит ли вино?
Всё ли различно? всё ли одно?
Я ль в поле темном? я ль поле темно?
Отрок ли я? или умер давно?
— Всё пожелал? или всё суждено?*

Добролюбов ворвался в поэзию необычно: то ли стихами, то ли притчами, то ли молитвами, которые были, по его оценке, «слишком для немногих». Однако превзошел он всех вовсе не стихами, а тем, что и судьбу свою выстроил декадентски: странно, загадочно, непонятно. Именно поэтому, как вспоминал Андрей Белый, Добролюбова титуловали «декадентом, возведенным в квадрат», поэтом, обречшим себя на вечное страдальческое скитальчество: он — как библейский «вечный жид» Агасфер, покаянно искал и не находил искупления своей греховности. Это был романтически-донкихотский подвиг жизни Добролюбова — именно так восприняли его «уход» современники. В названной выше монографии А. Эткинда приводится интересное тому свидетельство литературоведа эпохи символизма Александра Закржевского.

«Это — бродячая Русь, — пишет Закржевский в книге «Религия. Психологические параллели», — Русь подземная, мистическая сила, редко воплощаемая, это те, что творят невидимую ее... К ним относится и их символизирует Александр Добролюбов... Личность его выходит из рам, представляет из себя что-то сверхжизненное, какую-то стихийную силу русского народа, его богатырство, его святое, его надежду... Именно в нем нужно искать тай-

*«Личность его выходит из рам,
представляет из себя что-то
сверхжизненное, какую-то стихийную
силу русского народа, его богатырство,
его святое, его надежду... Именно в нем
нужно искать тайну России».*

ну России. <...> Он, как Ницше и Толстой, возненавидел книжную мудрость <...>, но он пошел дальше их, <...> в дремучие, темные леса, к зверям, к народу, к полям, к земле своей тихой, любимой. <...> Познал страдальческую силу народную, каторжный труд, в котором — радость особенная, очищающая, освящающая».

После этой цитаты А. Эткинд комментирует: «Литературными образцами для перерождения Добролюбова были, конечно, пушкинские «Пророк» и «Странник». Почти каждое слово этих стихотворений соответствует судьбе разочарованного поэта, который превратился в странствующего пророка».

Е.В. Иванова, много лет отдавшая изучению загадочной личности «духовного труженика», в упомянутой выше статье справедливо отмечает: «...Как авторитет жизненный, как образец поведения, Добролюбов ставился символистами очень высоко». И приводит далее несколько важных тому подтверждений. «Наш идеал — подвижничество, — писал Валерий Брюсов Андрею Белому, — но мы робко отступаем перед ним. И сами осознаем свою измену, и это осознание в тысяче разных форм мстит нам... Двое разве смелее: А. Добролюбов и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем?» — хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться».

Но более чем кого-либо другого встречи и беседы с Добролюбовым поразили Льва Толстого и Дмитрия Мережковского: «Я не сомневаюсь, — написал Мережковский в статье «Не мир, но меч», — что вижу перед собой святого. Казалось, что вот-вот засияет, как на иконах, золотой венчик над этой склоненной головою... В самом деле, за пять веков христианства, кто третий между этими двумя, — св. Франциском Ассизским и Александром Добролюбовым? Один прославлен, другой неизвестен, но какое в этом различие перед Богом?»

Скитальческие дороги однажды, в сентябре 1903 года, привели «святого русского символизма» в Ясную Поляну, после чего в дневнике Толстого появилась запись: «Был Добролюбов, христиански живущий человек. Я полюбил его». До последних своих дней Толстой заинтересованно следил за его подвижнической жизнью и проповеднической деятельностью (об этом Е.В. Иванова в 1980 году обстоятельно рассказала в статье «Один из “темных” визитеров»).

Служил ли Добролюбов «единому», как предположил Вл. Гиппиус? Нет, этого-то у него и не получилось: по-прежнему «он любил разное и служил разному». От религиозного фанатизма до бесшабашного сатанизма — вот размах его идейных метаний и нравственных исканий. У Брюсова в дневнике читаем: «А.М.Д. обвиняется в оскорблении святыни и величества. Дома тоже перебил иконы... Ему грозит каторга». А



по соседству иная запись: «В Соловецком монастыре Добролюбова совсем увлекли. Он сжег свои книги и уверовал во все обряды».

Однако не нашел Добролюбов истины ни в православии, ни в толстовстве, ни в традиционном сектантстве и создал верование свое собственное, производное то ли от молоканства, то ли от толстовства, то ли от бегунов, то ли от «пляшущей церкви» хлыстов, но — воодушевляемое высочайшими нравственными устремлениями, организуемое простыми, но привлекательными ритуалами-обрядами, сопровождались которые самозабвенными духовными песнопениями — «распевцами»; автор их слов и напева — он сам.

Начав с десятка искренних приверженцев, Добролюбов вскоре без труда умножил свою паству до сотен и — покинул ее, влекомый новыми призраками-целями. Русский Север, Самара, Оренбург, Предуралье, Сибирь, Средняя Азия, Кавказ — такова география его странствий. К какому вертограду он стремился? Чего искал? Наверное, прежде всего — усмирения своей непомерной гордыни, едва ли не самого мерзкого греха истинного христианина. А этот грех за ним водился в преизбытке. Как вспоминает Петр Перцов, «по силе фанатичной самовлюбленности и полнейшего самососредоточения на своей только личности это был со-

вершенно исключительный человек». «Добролюбов — это неукротимая война личной воли против всяких “нормальностей”», — отмечает другой мемуарист, Иван Коневской. Но вместе с тем именно этой мощно излучающейся силой духа и характера Добролюбов магнетически притягивал, околдовывал и увлекал. А его подвиг ухода на самоистязание и перевоспитание опрощением, к свободе, к независимости ни от кого и ни от чего привел в восторг и друзей, и недругов, вызвал у них трудно сдерживаемое стремление последовать его примеру.

«Если Вы через годы отшельничества и молчания, — написал ему Брюсов 11 августа 1898 года, — пронесете живую душу, столь же ясную и столь же светлую, как ныне она, все будет Вам возможно. Не ступишь на змею, и не ужалит; если что ядовитое вкусишь, не повредит. Скажешь, и исполнится. Воззовешь, и мы пойдем за тобой, и падем ниц, и воскликнем все: «Учи, ибо Ты власть имеющий».

Добролюбовский подвиг жизнетворчества взволновал не только Брюсова, но и Л. Толстого, А. Белого, С. Соловьева, К. Бальмонта, А. Блока, Л. Семенова, Н. Клюева... «Мне мечталась, — вспоминал А. Белый, — тихая, праведная жизнь нас всех вместе (т. е. Белого, Блока, С.М. Соловьева, Л.Д. Блок. — Т.П.), чуть ли не где-то в лесах или на берегу Светлояра. <...> И казалось, что нет в этом ничего невозможного, — да и не было ничего невозможного: ведь ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л.Д. Семенов (поэт, погибший в декабре 1917-го. — Т.П.), через два с лишком года после этого ушел сам Лев Толстой, пришел оттуда, из молитвенных чаш и молелен Севера, к нам сюда Николай Клюев, наконец я сам уходил (не на Восток, правда, а на Запад) уже в 1912 году, ища не старцев, не Китежа, а, может быть, рыцаря Грааля... Не удивительно, что на заре “символизма”, на заре нашей культурной жизни, нам казалось, что уйти всем вместе из старого мира и легко и просто, потому что Новый Мир идет навстречу к нам».

РАРИТЕТЫ ОЛЬГИ ВОРОНОВОЙ

Странная жизнь, загадочная судьба первого русского символиста влекла к себе многих исследователей, считавших, что в нем — ключ к пониманию глубинных истоков литературного декадентства рубежа XIX–XX веков. В числе таких завлеченных оказалась еще в 1960-е годы и Ольга Порфирьевна Воронова (1924–1985), известный искусствовед и литературовед, автор семнадцати книг, а в послевоенной молодости моя школьная учительница литературы в Кисловодске.

За несколько дней до ее кончины мне позвонил Александр Александрович Кулешов, ее муж, тоже искусствовед, директор Центрального выставочного зала Союза художников, что на Кузнецком мосту: «Олеся просит вас срочно приехать».

В тот день Ольга Порфирьевна вручила мне с просьбой: «Поработайте!» — толстые папки из своего бесценного архива. (Здесь в скобках замечу: перед этим она вместе с супругом передала в дар Смоленскому художественному музею свою немалую коллекцию живописных полотен, рукописей, писем, книг). Среди подаренных мне раритетов были неизданные рукописи А.С. Грина и публикации Вороновой о нем (Ольга Порфирьевна в январе 1953 года оказалась в одном ГУЛАГе с женой Грина Ниной Николаевной и подружилась с нею; осенью женщины-страдалицы вместе с тысячами других пережили радость освобождения и полной реабилитации). Этот дар моей любимой учительницы я безвозмездно передал Феодосийскому гриновскому музею. Три неизвестных стихотворения Грина, оказавшиеся у меня, опубликовало «Книжное обозрение» в 1997 году. В папках были также письма, стихи, фотографии

«Об этом человеке мне предстояло писать для «Литературной энциклопедии». Вначале все казалось просто — всего три книги и удивительно эффектная биография. Биография, которая прослеживается примерно до 1910 года. Позвольте, а что же дальше?»

и другие документы эгофутуриста Василиска Гнедова, Рюрика Ивнева, Сергея Городецкого, Бориса Зайцева и — Александра Добролюбова. Среди последних — рукопись незавершенной статьи о нем, которую Ольга Порфирьевна в 1974 году готовила для публикации в одном из журналов. Вот фрагмент ее рукописи:

«Об этом человеке мне предстояло писать для «Литературной энциклопедии». Вначале все казалось просто — всего три книги и удивительно эффектная биография. Биография, которая прослеживается примерно до 1910 года. Позвольте, а что же дальше?

А дальше — только одно упоминание о Добролюбове, в дневниках Брюсова. Добролюбов приходил к нему в начале революции, тихий и задумчивый, подолгу молчал и обращался к Брюсову и его жене «брат Валерий» и «сестра Иоанна».

Целую неделю я обзванивала библиографов и литературоведов. «Добролюбов? Последнее

упоминание в 1922. Видимо, вскоре умер. Где-то в двадцатых годах».

Нет, не хочется удовлетвориться этой датой. Еще раз внимательно продумываю вехи жизни Добролюбова, с кем был знаком, с кем дружил, с кем встречался...

Вот! У Льва Толстого, говорил с ним о смысле жизни. Ответы Толстого его не удовлетворили, ушел разочарованный. Но ведь все-таки был. Следовательно, о нем могут знать люди, изучающие Толстого. Надо спросить Гусева.

Николай Николаевич Гусев, профессор, бывший секретарь Толстого, знает все, что когда-либо писали или говорили о Льве Николаевиче. Знает и помнит цепкой, несмотря на преклонные годы, памятью. Кроме того, это очень хороший, добрый и отзывчивый человек, всегда готовый поделиться своими знаниями.

Николай Николаевич выслушал меня, улыбнулся и — начались чудеса.

— В Чистом переулке, — сказал он, — в третьем доме от угла живет вдова писателя Миклашевского-Неведомского... Сходите к ней. Добролюбов был у них <...> значительно позже своей предполагаемой смерти.

Я пошла по указанному адресу, меня переадресовали, потом еще и еще раз, и я долго ходила по каким-то милым и гостеприимным старушкам, пока не попала в такую же милую и приветливую семью Сенкевичей. Татьяна Николаевна Сенкевич, правнучка Петра Алексеевича Кропоткина (теоретика анархизма, географа и геолога. — Т.П.), родственница Миклашевских, и ее муж — Георгий Александрович с радостью помогли мне в поисках. Они дали мне адрес сестры Добролюбова и разыскали бумаги, оставшиеся у них после смерти Миклашевских.

В числе редкостных бумаг, оказавшихся в подаренных мне архивных папках О.П. Вороновой, — карандашная рукопись В.А. Миклашевской, озаглавленная «Справка из жизни»; к ней приложена фотокопия карандашного рисунка, на обороте которого читаем надпись художницы: «Александр Михайлович Добролюбов. Декабрь 1938. Рисунок с натуры, сделанный без его ведома В.А. Миклашевской. Беседуем с Миклашевским М.П. (Неведомским). Приехал, по его словам, с Кавказа». Вот он, перед нами, этот неизвестный текст, воскрешающий Добролюбова, похороненного в публикациях несколько раз и в разные годы:

«Как-то вечером, зимой 1938 года, мы с моим мужем М.П. Миклашевским (псевд. Неведомский) были дома, когда кто-то постучал в дверь. Вошел незнакомый человек, одетый в рабочую



Александр
Добролюбов

одежду, — с очень интеллигентным лицом. Он представился А.М.Д. (Александром Михайловичем Добролюбовым. — *Т.П.*), без каких-либо пояснений, почему он пришел именно к нам. Позднее я узнала, что он был в Москве проездом на Кавказ, из Ленинграда, где он гостил у своей сестры Ирины Мих<айловны>, жены моего двоюродного брата Е.С. Святловского — видимо, от них он узнал наш адрес.

До этого случая — прошло 40 лет, как А<лександр> М<ихайлович> ушел из интеллигентской жизни и жил физическим трудом. Из разговора выяснилось, что Алек<сандра> Мих<айлови>ча интересовали мысли и жизнь интеллигенции в послереволюционном времени. Сам А.М. тогда и до самой смерти прожил век жизнью простолюдина. В этот период он работал печником на Кавказе, переходя из одной местности в другую. У А.М. были огрубевшие руки и, что интересно, — говор простолюдина, несомненно безо всякой нарочитости. Сам А.М. в этот вечер мало высказывался

и с большим вниманием слушал моего мужа. Он прочел одно свое стихотворение, в котором в нескольких местах рифма определялась на словах с ударениями, употреблявшимися среди простонародья. На вопрос М<ихаила> П<етровича>, почему он так делает, А.М. твердо отстаивал свое право на это (к сожалению, я забыла его аргументацию).

Приведу еще небольшую черточку, характеризующую А.М. Живя у сестры и ее мужа в Ле<нинграде>, А.М. как-то вернулся домой, когда все уже спали. Он не стал их будить, и утром сестра, выйдя на площадку лестницы, увидела А.М., спящего свернувшись клубком. Дело было зимой.

По словам Святловских, А.М. проявлял к ним крайнюю деликатность и полное равнодушие к своим удобствам. У нас с мужем осталось от А.М. впечатление глубокой, своеобразной идейности, искренности и простоты. Никакого желания «проповедовать» он не проявлял. А.М. и М.П. ходили к Вересаеву, на ко<торого> А.М. произвел впечатление, и В<икентий> В<икентьевич> как-то читал нам свои воспоминания об этой встрече. После отъезда на Кавказ А.М. написал несколько писем и прислал стихотворение, которое подтверждает вышесказанное о форме стихосложения, им принятой, а содержание говорит о взглядах его того времени. М.П. никогда не вступал в переписку с кем бы то ни было и не отвечал А.М., почему переписка скоро прекратилась. Насколько мне известно, А.М. умер на Кавказе во время войны, — хотя в 38 году он выглядел очень крепким и не старым человеком. Незадолго до смерти А.М. женился, как я слышала, на простой женщине. Прилагаемое письмо А.М. к сестре Брюсова (Надежде Яковлевне; 1881–1951; она была в молодости тайно влюблена в Добролюбова и даже на несколько месяцев уходила с ним в странствия. — *Т.П.*) было вложено в письмо к М.П., оно пришло, когда мы уехали в Фергану, и затерялось у получивших его моих родственников, попало мне в руки много спустя. Когда его нашли, и сестры Брюсова не было уже в живых. 2 упомянутых им письма также потеряны. В.А. Миклашевская».

К этим воспоминаниям Миклашевская приложила в своей записи стихотворение Добролюбова «Прощайте, вериги, недолгие спутники грусти...», вошедшее в добролюбовское «Собрание стихов». О.П. Воронова долго никому не рассказывала (тогда это было еще опасно) о своем знакомстве и переписке с куйбышевским журналистом Ильей Петровичем Ярко-

вым (1892—?), отбывшим, как и она сама, срок в ГУЛАГе. На его неизданные работы (они теперь в разных архивах: в коллекции М. Поповского в Станфорде, Калифорния, в частных собраниях, в том числе моем) ссылаются ныне многие, в частности автор упомянутой выше монографии А. Эткинд, Е.В. Иванова и другие исследователи. Это был «добролюбовец» со стажем — с 1918 года. Кропотливо, дотошно и, оказывается, с риском для жизни собирал Ярков документальные свидетельства о судьбе Добролюбова, записывал его духовные распевцы и псалмы, легенды о нем, воспоминания, письма и за это свое, как мы только сейчас понимаем, благородное пристрастие был в тридцатые годы отправлен на сталинскую каторгу. Все им собранное было изъято при обысках и не возвращено. Сам он выжил и свои увлеченные разыскания не оставил после освобождения в шестидесятые годы.

В переданном мне архиве Ольги Порфирьевны сохранились только три письма Яркова к ней, а также им подготовленные и оставшиеся неизданными сборники: «Для народа» (стихи и песни Добролюбова, 1965; в монографии А. Эткинда указана дата: 1970 — очевидно, дата перепечатки), «Легенды о Добролюбове» (1965), «Какими я их знаю. Рассказы о последователях

ликованной статье «Кем умер Добролюбов?», присланной им О.П. Вороновой 14 марта 1965 года, доказательно утверждает: «Добролюбов никогда не был сектантом в “чистом” значении этого слова. В данном случае он находится примерно в такой же позиции, как и Л.Н. Толстой. Общеизвестно, что были так называемые “толстовцы”, и многие из них сугубо ортодоксальным, подлинно сектантским уклоном. Но общеизвестно также и то, что сам Толстой не только не считал себя “толстовцем”, но и решительно выступал против “толстовства” и писал об этом статьи».

«Нет спору, — продолжает убеждать Ярков нас, прочитавших книгу Эткинда, в которой поэт тоже рассматривается как сектант, — Добролюбов в свое время много содействовал стихийному оформлению в степях Заволжья секты добролюбовцев, своих последователей; не подлежит также сомнению, что было и такое время, когда Александр Добролюбов был склонен играть роль верховного “понтифика” этой секты. Но не следует забывать при этом, что все это с его стороны было не более как увлечением, и увлечением скоропреходящим. Все это еще ничего не говорит о том, что сам он (“брат Александр”, как любовно именовали его повсеместно в народе) закоснел и закостенел в сектантстве. Мне представляется несомненным, что Добролюбов прежде всего был живой человек, ищущий и идущий вперед, способный не остановиться на достигнутом и не застыть в определенной позе “сектанта”, но — двигаться вперед и искать. “Братья, не жалейте сил на вечной дороге!”

Что это так, свидетельствует, например, тот немаловажный факт, что в последние годы жизни он, как это видно из его писем к друзьям “добролюбовцам”, оказался в состоянии критически пересмотреть свою главную книгу — “Из книги невидимой” (М., 1905, изд. “Скорпион») и решительно выбросить из нее весь, если можно так выразиться, мистический хлам (“серафимов”, “херувимов” и проч.). Книга значительно сократилась в размере, от нее осталась приблизительно одна треть, но треть эта, вполне вероятно, написана в более или менее реалистической манере. Не говорит ли это о том, что поэт не окостенел, а, продолжая совершенствоваться и углублять свои взгляды, отказался от старых, мистических и, если хотите, сектантских воззрений? Сестра поэта В. Брюсова — Н<адежда> Я<ковлевна> Брюсова, в частности, писала мне, что из писем к ней поэта для нее стало несомненным, что в последние годы своей жизни он стал искать пути сближения с советской действительностью и

«Добролюбов прежде всего был живой человек, ищущий и идущий вперед, способный не остановиться на достигнутом и не застыть в определенной позе “сектанта”, но — двигаться вперед и искать».

“брата Александра» (1967), машинописная рукопись статьи «Кем умер Александр Добролюбов?» (1965), копии жандармских донесений 1903 года из Куйбышевского областного архива, озаглавленные «Дело о неумелом косце», копии трех писем Добролюбова к поэту и переводчику Б.В. Беру (1871–1921), копия стихотворения Добролюбова «Памятник» («Я памятник воздвиг, но не себе — народу...»; Баку, 1939?), копия добролюбовского отрывка под названием «У подножья революции», наконец, его открытки последних лет, позволяющие уточнить с большей достоверностью дату смерти поэта. Приведем некоторые из этих важных документов: они нам раскроют и объяснят многие загадочные обстоятельства судьбы поэта-подвижника.

В современных энциклопедиях, справочниках, комментариях Добролюбов аттестуется как «поэт-сектант». Однако Ярков в неопуб-

даже интересовался, нельзя ли некоторые из его последних стихов “пристроить” в один из журналов? Вот вам и то самое «отречение» поэта от литературной деятельности, о которой, как о непреложном факте, пишет О.П. Воронова (вслед за Брюсовым и другими. — Т.П.), автор статьи о Добролюбове во втором томе “Краткой литературной энциклопедии” издания 1964 года.

Не свидетельствует ли это о том, что в поэте был жив не “сектант”, а ищущий, живой человек, стремящийся познать истину, способный, хотя бы на старости лет, бесстрашно распространиться со многим из того, что некогда принимал за незыблемую основу своей жизни?»

«...в поэте был жив не “сектант”, а ищущий, живой человек, стремящийся познать истину, способный, хотя бы на старости лет, бесстрашно распространиться со многим из того, что некогда принимал за незыблемую основу своей жизни...»

ПИСЬМА ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

В трех сохранившихся письмах Ильи Петровича Яркова к О.П. Вороновой исследователи личности Добролюбова также почерпнут немало бесценных свидетельств. Кроме того, приоткроются драматические подробности поисковой работы энтузиастов, по крупицам восстанавливавших историю жизни и смерти зачинателя русского символизма. Вот эти письма:

«4 ноября 1965 г. — Куйбышев.

Уважаемая Ольга Порфирьевна!

Фотографию получил. Большое спасибо.

Смерть косит людей, и остается очень и очень мало из тех, кто видел “живого” Д<обролюбо>ва и хорошо его знал. Те же, кто по идее должны были бы быть наследниками, восприемниками его живого, ищущего духа, те с течением времени утратили к нему всякий интерес и, не приобретя взамен ничего нового, превратились или в горелые пни, или же, по слову одной старинной книги, вызывающей к себе до сих пор неослабленный интерес и побуждающей людей спорить, — превратились в слегка “тепленьких”, то есть по нашей терминологии равнодушных. “Знаю я тебя, — говорится в этой книге, — ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!”

В качестве “тепленького” один из таких бывших почитателей нашего поэта вот уже более года обещается разыскать и принести мне

несколько стихотворений Д<обролюбо>ва, — и все тянет, тянет и не несет. Развилась в людях какая-то необъяснимая духовная лень, род былой обломовщины, какое-то отсутствие любознательности. Одно из этих обещанных стихотворений — “О революции” или “К революции”, другое — “Я памятник воздвиг, но не себе — народу” (это не то, что Вы мне вручили, а более ранняя версия) и, наконец, третье — называется “Дно” и начинается словами: “Тебя я видел, дно, на дне мелькали люди...”

Этими стихотворениями заинтересовался директор одной из местных средних школ, одно из них он даже наговорил на магнитофонную пленку. По всей видимости, это был “мужик” с головой, с развитием, с литературным и всяческим интересом, но он очень сглупил: взял да и умер. Этот мой приятель — “Обломов” — также безуспешно разыскивает у себя куда-то запропастившийся экземпляр д<обролюбо>вских “Манифестов людей телесного труда”. Пока не нашел. Мешает отсутствие накала, горячности, качество посредственной теплоты. Да и возраст.

Все это, Ольга Порфирьевна, не надо было бы искать. Все это было у меня и, надеюсь, продолжает быть, то есть храниться в соответствующем архиве. Вот только беда, что все это никому недоступно. На днях я разыскал как-то случайно уцелевший от разгрома один листочек “Манифестов”, самое начало с комментариями моего старого друга, большого умницы, человека с литературным дарованием (окончил институт журналистики), полиглота и лингвиста, погибшего в 1937 г. То, что уцелело, тем и делюсь с вами. Но только это не более как жалкий фрагмент. Полный экземпляр “Манифестов” с моими комментариями хранится у них. Другой экземпляр их (манифестов), тщательно и, как говорится, научно прокомментированный мною совместно с моим погибшим другом, к сожалению, по нелепой, дикой случайности был предан огню в Ташкенте, где я был в ссылке. Я запрятал его в печную трубу. Дело было летом, печь не было надобности топить, и я думал, что это сохранится от чересчур любопытных взоров некоторых людей. Не тут-то было: приехавшим к нам родственникам моей жены понадобилось для чего-то в наше отсутствие затопить печь. Они вынули сверток, приняли его за простую затычку и — сожгли. Я чуть не плакал, когда узнал об этом. Там были не только “Манифесты”, но и другие любопытные и ценные с литер<атурной> точки зрения вещи. Бывают же в жизни вот такие необъяснимые и глупые случайности!

Вот этот “фрагмент”:

“Манифесты людей телесного труда (первый и второй)”. Подлинник написан химическим карандашом, на писчей линованной бумаге, на обеих сторонах листа, без прописных букв, отрицаемых автором. “Не” с глаголом писано вместе. Орфография новая, кроме десятиричного “i”. В прямые скобки (комментатором) взяты слова, имеющиеся в подлинной рукописи, но отсутствующие в позднейших редакциях.

Вставка: “Какая бы то ни было мысль, слово или действие, где бы они ни были произнесены, если в них блеснул свет действительно “нового”, безграничного движенья вперед, — первое рождение тех высших истин — в пастушеском вертепе согласно древнейшим преданьям древности, то есть в рабстве труда. Все то, что принесло высшую пользу для внутренней или наружной жизни, — или было заимствовано и истолковано, или грубо украдено — представителями разума у представителей труда. Большинство достигавшего до сих пор людей света есть отраженный свет. Впрочем, он не только отраженный, но — что еще гораздо главней — он и искаженный свет”.

Это все, что уменя сохранилось. Остальное — у них. И как до всего этого добраться, ума не приложу.

«Может быть, тогда не только укажут на мои ошибки и не только посмеются над моей литературной и всяческой другой наивностью, граничащей с безграмотностью, но и скажут покойному доброе слово».

Поверьте, О.П., я отнюдь не переоцениваю значение своего архива для “добролюбоведения”, а в смысле того, что я писал о нем, отнюдь не претендуя на какие-то неслыханные откровения или новые слова. Но все же я твердо убежден, что мой архив с литературной точки зрения имеет определенную ценность, и когда-нибудь будущий Шторм доберется до него так же, как добрался в наши дни до “птаенного Радищева” (Г.П. Шторм, автор книги архивных изысканий под таким названием. — Т.П.). Может быть, тогда не только укажут на мои ошибки и не только посмеются над моей литературной и всяческой другой наивностью, граничащей с безграмотностью, но и скажут покойному (сиречь — мне) доброе слово.

Но все это — дело будущего, быть может, даже отдаленного будущего. А сейчас — сейчас приходится припомнить только хорошие сло-

ва, содержащиеся в “Талмуде”: “Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши”».

«8 янв<аря> 1966 г.

Уважаемая Ольга Порфирьевна!

Поздравляю Вас и А.А. (Кулешова. — Т.П.) с Новым годом.

Я зачастил Вам писать, но чувствую, что мои письма Вам неприятны. Вы только мне намекаете, и я немедленно прекращаю переписку. Она может Вас известным образом “шокировать” или компрометировать.

Посылаю Вам два стихотворения А. Д<обролюбо>ва.

Удалось снять копии с двух его писем (открытки) петербургского периода и с одной открытки, подписанной — В. Добролюбов. Кто это такой, я не знаю (это один из братьев поэта. — Т.П.).

Сюда поступил архив поэта Бера Бориса Влад<имировича>. М. Горький называет его — “талантливый поэт и переводчик Борис Бер”. Обнаружено более 20 писем Горького к этому Беру. Между тем в “Кр<аткой> лит<ературной> энцикл<опедии>” это имя вовсе не существует. Помимо помянутых двух писем “раннего” Д<обролюбо>ва, есть еще письма и о нем, довольно любопытные. И. Я.»

«16 июля 1967 г.

Уважаемая Ольга Порфирьевна!

Против использования присланных Вам мною в разное время материалов для статьи о Добролюбове не возражаю, только бы не было вранья. Это я говорю не в плохом, а в хорошем смысле этого слова, ибо потребность и привычка приврать — профессиональная особенность любого журналиста (в том числе и моя, как бывшего журналиста).

Скажу несколько слов о стихах Добролюбова, написанных им для народа (Ярков прислал Вороновой машинописную рукопись составленного им в 1965 году сборника Добролюбова “Для народа. Стихи и песни, написанные для народа и нигде не напечатанные” с дарственной надписью: “О.П. Вороновой в знак сердечной приязни”. — Т.П.). С обычной, традиционно-литературной точки зрения эти стихи “плохие”, как и сказала мне о них одна моя московская приятельница — интеллигентная женщина. Отчетливо сознавая, что стихи пишутся им (Добролюбовым) совершенно для другой аудитории, нежели обычная литературная среда, в которой он раньше вращался; сознавая, далее, что в мнении своих бывших друзей типа А. Блока, В. Брюсова и других эти его (народные) стихи стоили бы не слишком дорого (вернее, их сразу бы забраковали); заранее, нарочито стре-



мья отвлечься от всякой литературной формы в сторону безыскусственности, “брат Александр”, насколько мне известно, настойчиво и непрерывно противился опубликованию их в печати. Он не раз и не два предупреждал на этот счет своих ближайших последователей из народа о необходимости всячески избегать передачи этих стихов в “интеллигентные” руки, “образованным”. Это и понятно, так как по своей специфике стихи Д<обролюбо>ва “для народа” резко разнятся от обычных, печатаемых в журналах, стихов профессионально и квалифицированно “поэтических”. Но можно уверенно сказать, что ту аудиторию (самые низы народа), на которую их автор рассчитывал, ког-

да писал эти стихи, — эту аудиторию его стихи вполне удовлетворяли. Это тем более так, что, как я уже писал об этом раньше, каждое свое новое стихотворение Д<обролюбо>в неизменно сопровождал своеобразным напевом и тут же его пропевал. Напев этот прочно закреплялся за данным стихом.

Будучи в Москве весной этого года, я познакомился с очень интересным, безусловно выдающимся человеком. С его помощью мне удалось осуществить свою давнишнюю мечту — записать добролюбовские напевы на магнитофонную пленку. (Кстати, при первом же знакомстве с этим лицом мы с ним как-то даже сдружились, обнаружив изрядное “сродс-

тво душ”, а главное — общность интересов.) Но беда в том, что напел я ему стихи “брата Александра” своим старческим дребезжающим и даже как бы гнусавым голосом (как деревенский дьячок). Вам понятно в этом смысле, что мои певческие данные более чем невысокие и в этом смысле я далеко не Лемешев. Пленку эту я увез с собою, она сейчас у меня. И если оставить в стороне момент исполнения (мой весьма скверно и отвратно звучащий голос), за одно могу дать более или менее твердое речательство: напевы стихов выражены мною правильно, без особых искажений, в том самом “виде”, как я неоднократно слышал их на “братских” собраниях. Так что в этом смысле волновавший меня вопрос о “вечности” частично решен. Можно было бы при желании еще раз перепеть эти стихи на магнитофон в сопровождении нескольких голосов (подобие хора), но, к сожалению, у меня такой возможности нет, так как магнитофонную пленку (ленту) очень трудно добыть; магнитофон можно было бы взять напрокат. А я придаю большое значение вопросу о пении этих стихов.

Что касается вопроса о том, каким образом я собирал эти стихи и насколько текст их “каноничен”, скажу следующее. Одно время (еще в середине двадцатых годов) в моем распоряжении по счастливой случайности очутился рукописный сборник этих стихов, переписанный явно интеллигентным почерком (но то не была рука самого Добролюбова). Я тогда же все до единого выписал их из этого сборника. Там же была рукопись одного малоизвестного произведения Добролюбова — “Мои вечные спутники”, по времени написания относимая примерно к 1911 году. К величайшему моему сожалению, этот сборник мне у себя удержать не удалось, а его владелец поступил с ним довольно легкомысленно, о чем впоследствии сам не раз сожалел.

Я уже, как говорится, имел честь поставить Вас в известность о том, что мне приходилось по обстоятельствам, от меня не зависевшим, не раз и не два возобновлять свои записи стихов Добролюбова и вообще интересовавших меня сектантских лирических духовных стихов.

Последующие записи стихов “брата Александра” приходилось делать с единичных, случайно сохранившихся рукописных песенных сборников, написанных, как правило, в ряде мест и неразборчиво и рукой малограмотного писца. Мои друзья добролюбовцы как могли помогали мне восстановить верный текст, так что я могу ручаться, что значительных расхождений с авторским прототипом того или иного стиха (а, как общее правило, они

не сохранились) вряд ли можно найти. Текст каждого стиха мною каждый раз проверялся, разночтения оговаривались».

«13 авг<уста> 1967 г. (Продолжение письма от 16 июля. — Т.П.)

Поэт Ник. Клюев никакого отношения к добролюбовскому движению не имел. Это человек с крепкой старообрядческой закваской. Если верить свидетельству Александра Блока, Клюев “из богатой старообрядческой семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губ. несколько лет” (т. 7, стр. 313). Между тем по всем другим источникам он — крестьянин Олонецкой губ. Встречался ли (и когда) Клюев с Д<обролюбо>вым, мне неизвестно. Он (Клюев) на 9 лет моложе Добролюбова. Меня заинтересовало только сходство сюжета в одном из стихотворений (“Он придет, Он придет, и смутятся народы...”. — Т.П.). Правда, там, у себя на Севере, Клюев принимал какое-то участие в организации “вологодских братьев”, которые, по его словам, пели даже на своих собраниях некоторые стихи Александра Блока (по предположению последнего, из “Нечаянной радости”). Автор статьи о Клюеве в “Краткой лит<ературной> энциклоп<едии>” (т. 3, стр. 607) утверждает, что “в начале 30-х годов Клюев был выслан в Нарым”. Причиной высылки, по моему непроверенному предположению, послужило одно ходящее до сих пор в списках стихотворение, “посвященное” Д. Бедному и до сих пор незаслуженно приписываемое С. Есенину. Судя по тому, что Клюев умер в 1937 г. на Сиб<ирс-кой> ж<елезной> д<ороге>, можно сделать вывод, что он, в числе других, пал жертвой “культы” (Клюев расстрелян 25 октября 1937 г. — Т.П.).

Прошу извинить за бессвязное письмо. И притом с таким разрывом в числах. Сейчас живу в обстановке, не располагающей к углубленной, сосредоточенной работе ума, которую раньше называли “духовной”. И даже затрудняюсь сказать, изменятся ли обстоятельства в этом смысле к лучшему.

С приветом и лучшими пожеланиями.
И. Яков».

УСЛЫШЬТЕ, ПОТОМКИ!

Искреннее стремление Добролюбова к восстановлению, хотя бы частичному, былых связей с друзьями юности отразилось в его письмах и открытках конца тридцатых — начала сороковых годов (напомню: когда его уже «похоронили»). Они тоже оказались в архиве О.П. Вороновой. Приведу некоторые из этих раритетных текстов (с сохранением «опрошенной» орфографии автора).

«Вместо телеграммы
т. Миклашевский
привет

Я жив здоров, есть желанье иметь иногда письменную (и неписьменную) связь, в Москве ли вы, вы предполагали выезд в Среднюю Азию — отвечайте Тертер (район Азербайджана) художнику Судакину А. с передачей мне жму руку
известный вам А. Добролюбов
передайте т. Вересаеву (если ему нужно)»

На штемпелях открытки — даты: Тертер — 2.4.39; Москва — 9.4.39.

«...после года жесточайших разных неприятностей и даже ударов судьбы я наконец остановился в самой глуши Азербайджана, здесь для меня сейчас подходящие условия — подходящая работа, подходящий заработок и есть и некоторый уют, живу надеждами будущего...»

«Письмо наружное
товарищ Миклашевский
письмо от известного вам брата Александра извещаю о себе — я остановился (во всяком случае, до весны) в Кельбеджарах (самый глухой район Азербайджана), желанье наладить с вами опять связь (хотя бы письменную), пишите — буду отвечать подробно и есть кой-чего спросить, я вам писал летом раза 2 — вы не отвечали — поэтому не пишу — жду ваших 2, 3 слов, нет — пишите больше
помнящий вас известный вам Александр Добролюбов
16.XII.39
Кельбеджары»

На этих же листах из школьной тетради приписано карандашом: «пишите новости вашей жизни и вообще умственной жизни стран мира, здесь мне почти ничего не слышно посылаю вам стихотворение».

Далее идет текст стихотворения «Я памятник воздвиг тебе, рабочий мира...», а затем приписка снова чернилами: «просьба передать прилагаемое письмо сестре Иоанне Брюсовой». И снова карандашом, на отдельных страницах:

«сестра Иоанна
привет
после года молчанья вздумал написать, да — этот год был мне так тяжел, что раньше насто-

ящего времени я не имел досуга возобновить связь с вами (не только с тобой, сестра, вообще все живущие там на севере — в Ленинграде и Москве объединяются в моем воображении в одно целое как жители городов — верней как представители умственного мира, я пока живу слишком далеко от него, может быть мне даже опасно жить около него), останавливаю нить мыслей, дело не в этом, сообщаю вкратце о себе — после года жесточайших разных неприятностей и даже ударов судьбы я наконец остановился в самой глуши Азербайджана, здесь для меня сейчас подходящие условия — подходящая работа (хотя чрезмерная, работаю сейчас зимой от света до света), подходящий заработок и есть и некоторый уют, живу надеждами будущего — создать и для себя лично какую-то обезопасенную жизнь (опять мысль уклоняется), вот и вспомнил о тебе Иоанна как одну из сестер утра дней моих, пишите о своих новостях — отвечу подробно (здесь часть текста неразборчива. — Т.П.).

п/с <постскрипtum>
да, вот 2 просьбы
пришлите мне том избранных вещей Валерия <Брюсова> и если возможно Рамбо на французском или переводы из него (желал бы я точней описанья конца жизни и всей жизни его но не надеюсь что есть настоящие исследователи таких полных опасностей подводных рифов)
привет еще раз
23/XII Кельбеджары
адрес мой
Азербайджан Кельбеджары (район Азербайджана) стройконтора рика
Добролюбову А-ндру»

Интересные (и новые) факты содержатся также в письме племянника Добролюбова Г.Е. Святловского (автора статьи о поэте в т. 2 биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917»), присланном им из Ленинграда О.П. Вороновой в пору ее активных разысканий о судьбе поэта:

«Многоуважаемая Ольга Порфирьевна!
Минутой назад я закончил, наконец, разбор архива и писем А.М. Добролюбова. По всей вероятности, это еще не все. Возможно, кое-какие письма и документы будут мною обнаружены позже, при осмотре и разборе книг уцелевшей библиотеки. При этом письме отправляю также письмо моей матери, оставленное мне для отправки перед отъездом в Пярну (может быть, это опубликованная выше «Справка из жизни»? — Т.П.). Письма от старшей сестры маминой пока нет, так что спешу сообщить все, что я уз-

нал при разборе архива. Мама пишет вам верно, что последнее письмо дяди было в декабре 1943 г. Нашел открытку со штампом почты 18/XII–1943 г. Л<енингра>д, написанную Александром Михайловичем из Азербайджана со станции Уджары Закавказской ж.д., датированную им собственноручно 2 декабря 1943 г., Уджары. Открытка адресована на имя дворника дом 7 на Геслеровском пр. в Ленинграде, где мы жили во время блокады Ленинграда. Содержание: “Оч<ень> прошу дворника дома Геслеров, 7 сообщить мне, что ему известно о пребывании Ирины Михайловны Святловской (рожденной Добролюбовой), может быть, вам известно, если она выехала — в каком направлении, убедительно прошу. Брат Ирины А. Добролюбов”.

Таким образом, ошибочен лишь указанный мамой адрес: Евлах, до востребования. Мама, видимо, просто забыла.

Итак, вот, пожалуй, и все, чем я располагаю. Какие мысли и предположения вызывают последние сведения? Чем была вызвана смерть? При каких обстоятельствах погиб он? Видимо, ничего неизвестно. Ведь никого из близких и друзей не было рядом. А сестра, моя мама, была в осажденном городе, где потеряла двух сыновей и мужа, и не отвечала или отвечала очень редко.

Писем Ал<екса>ндра Мих<айловича> дов<ольно> много, но большей частью они кратки, раскрывают, как он сам пишет, кое-что “внешнее”, но и это внешнее раскрывает внутреннюю жизнь его тех лет.

Во время своего пребывания в нашем доме в Ленинграде (с сентября по декабрь 1938 г.) дядя Саша сблизился с моим старшим братом Михаилом и, видимо, многим делился, уединяясь лишь с ним. Встречался он и с Вл. Гиппиусом, вероятно. Будучи в Ленинграде, живя у нас, я помню, приходил домой он с инструментами. Работал по кладке печей, выполнял и штукатурные работы и малярные, видимо. Этими же работами был он занят все время, будучи на юге. Для работы литературной, видимо, не оставалось времени или он сам решил вычеркнуть для себя эту сферу деятельности. Не знаю, но лишь предполагаю, что так. Однако, будучи у нас в 1938 г., дядя Саша просмотрел “Из книги невидимой” и многое вычеркнул, как неприемлемое. На титульном листе книги его рукой сделана такая запись: “Впервые просмотрено мной в 1938 г. во время приезда в Петербург, все показное откидываю (также все рабское), остающееся занумеровано, осталь-

ное все ненужное. А.Д. 1938 г. 10/XII”. Этот экземпляр у меня, я его свято храню.

Кроме того, систематизации и прочтения требуют письма, переписанные в совокупности и хронологичес<кой> последовательности. Они многое объясняют в последнем периоде жизни А.М.Д. Найдена мною и рукопись, начинающаяся словами “Я предвижу, о отдаленнейший из потомков моих...” и далее на 17 страницах белые стихи и стихи разных, видимо, лет. Печатались ли они — не знаю. Напишите, пожалуйста, знаете ли Вы, судя по началу, что это за рукопись...” (Здесь письмо обрывается. — Т.П.)

В этом письме мы должны обратить внимание прежде всего на сведения, позволяющие назвать с немалым приближением к истине год кончины одного из первых русских символистов. До сих пор мы встречаемся в этой загадке с изрядным разбросом мнений: в «Краткой литературной энциклопедии» обозначена О.П. Вороновой дата — 1944, впоследствии признанная и ею самой недостоверной; в биографическом словаре «Русские писатели» Г.Е. Святловским — 1945 (?); в собрании сочинений В.Я. Брюсова — 1944 (?) и т.д. Последняя открытка Добролюбова, приведенная в письме Святловского, дала основания предположить условную дату смерти поэта: после 2 декабря 1943 г. Однако и это предположение было уточнено Святловским. Племяннику Добролюбова удалось совершить поездку в Азербайджан, побывать там, где жил и работал поэт в свои последние годы. Александр Михайлович Добролюбов умер в Уджарах не ранее весны 1945 года. Его могила на кладбище вблизи станции не сохранилась. Другие документы об этом времени (есть ли они?) не установлены.

В заключение — о событии не только в добролюбоведении, но и в нашем читательском: сочинения Александра Михайловича Добролюбова, тщательно отобранные, научно откомментированные А.А. Кобринским, с его замечательным исследовательским предисловием наконец-то впервые за столетие были изданы и у нас в России в серии «Новая Библиотека поэта» (СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2005). Эта книга самого загадочного русского поэта возбудила заново интерес к его незаурядной личности. Остается надеяться, что последуют и другие издания его стихов и прозы наряду с новыми статьями о нем — проникновениями в тайны творчества «святого русского символизма». ИБ

УЛАНОВА.

Огонь внутри и крик сквозь шепот

Инга Радова

ИЩИТЕ ПОНИМАНИЯ У ХУДОЖНИКОВ И ОБРЯЩЕТЕ

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения одной из величайших балерин XX столетия — Галины Сергеевны Улановой.

Рассматриваю фото скульптур и портретов балерины, выполненных в разные годы советскими, российскими, зарубежными художниками, профессионалами и любителями, взрослыми и юными дарованиями...

Передо мной поэтичная, наполненная светлым лиризмом и безраздельной душевной устремленностью работа «Галина Уланова» скульптора Е.В. Николаева. Евгений Васильевич, отойдя от традиции изображать танцовщицу в полный рост, высек из мрамора голову и запрокинутые руки балерины, оживляя в памяти знаменитую сцену бега Джульетты из балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в исполнении Улановой, превзойти которую в силу эмоционального воздействия и художественной выразительности не смогла еще ни одна из других исполнительниц этой роли.

Очерчиваю взглядом абрис изящной девичьей головки, огибаю плавную, даже не линию — мелодию рук, и кажется, будто теплеет холодный мрамор, а белоснежная балерина с каждым оборотом фуэте обращается то в ангела-хранителя, то в Музу-покровительницу искусств.

А вот чудесная, уникальная по балансировке работа Елены Александровны Янсон-Манизен: бронзовая скульптура Улановой в образе Одетты из балета «Лебединое озеро». Гибкая, полетная, словно легче воздуха, фигурка буквально парит над сценой, лишь слегка касаясь ее носком пуант.

Между прочим, пуанты Галины Сергеевны тоже особенные: узкие и с очень мягкими носками — она специ-

*Галина Уланова — Тао Хоа, балет «Красный цветок».
Скульптор Е.А. Янсон-Манизер. Фарфор. 1952*





Галина Уланова — Джульетта, балет «Ромео и Джульетта». Скульптур Е.А. Янсон-Манизер



Галина Уланова. Скульптор Е.А. Янсон-Манизер. Бронза. 1935–1937

ально разбивала их молоточком. Современные балерины говорят, что не смогли бы танцевать на таких, однако именно эти инквизиторские пуанты помогли Улановой преобразиться в парящего лебедя.

Взгляд задерживается и на портрете, выполненном графиком О.Г. Верейским: спокойное, одухотворенное лицо танцовщицы, пленительный и, одновременно, бесстрастно сосредоточенный на собственных мыслях и чувствах взгляд.

Говорят, глаза — зеркало души. На большинстве изображений взгляд Галины Сергеевны часто ускользает в сторону, вдаль или вглубь себя. Причиной тому отчасти была природная застенчивость: «Вы, Галюша, смотрите вдаль, поверх публики. Но взор, глаза непременно нуж-

но открыт», — советовала девушке педагог, помогавшая ей избавиться от манеры танцевать с потупленным взором, не смотря в сторону зала.

Вообще, о свойственной Улановой таинственной закрытости и самоуглубленности писали все, часто объясняя эти особенности причудами характера балерины. Полагаю, это мнение верно только отчасти: художники Ольга и Леонид Тихомировы, в течение 7 лет писавшие портрет Улановой, говорили, что ее покой и отстраненность — только внешнее состояние, а в ее душе, в уме шла интенсивная внутренняя работа, не останавливавшаяся ни на секунду, чем бы она ни занималась.

О том же понимании личности и характера Улановой говорит ее ученица — балерина Л.И. Семеняка: «Сей-

час, по прошествии времени, я хорошо понимаю смысл каждого прожитого ею дня. Она — величайший режиссер своей жизни. Когда мы впервые встретились с Улановой в репетиционном зале, и я заглянула ей в глаза, то почувствовала всю ее силу и мудрость. Внешне она была очень закрытым человеком, но это обманчивое впечатление, просто она стремилась прожить каждую минуту не зря».

В полюбившемся мне портрете зримое ощущение напряженной внутренней работы гармонично сочетается с женским обаянием модели.

«КАК БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ В СТАЕ ВОРОНЯ — СРЕДИ ПОДРУГ КРАСАВИЦА МОЯ»

Тот же высокий аристократизм духа в сочетании с красотой и совершенством стиля отличал главную звезду эпохи немого кино и Золотого века Голливуда — Грету Гарбо. Уланова высоко ценила Гарбо. В ее домашней фильмотеке было много фильмов с участием «снежной королевы». Она собирала ее фотографии, изучала крупные планы Гарбо, ее филигранное мастерство в передаче сильных чувств. Всю жизнь мечтала о встрече с актрисой, и их много раз приглашали на одни и те же приемы, концерты, но что-то всегда мешало встрече.

Искусствовед и писатель О.Г. Ковалик вспоминает, что Уланова рассказывала ей следующее: «Я получила письмо от Греты Гарбо. К большой радости, она писала, что хочет со мной встретиться. Но наше знакомство не состоялось. Мы должны были встретиться в Лондоне, когда я была там на гастролях. Гарбо пригласила меня к себе. И вот в назначенный час мы подъезжаем к ее дому. А около него непроходимая толпа поклонников и журналистов, узнавая, что я приеду. Весь квартал заняли. Я не рискнула выйти из машины. Грета смотрела на меня в окно, а я на нее через автомобильное стекло. Мы очень долго смотрели друг на друга. И этого нам тогда оказалось недостаточно... Как жалко, что наша встреча не состоялась... Как жалко...»

Американская актриса тоже восхищалась искусством Улановой и любила русский балет. Поклонниками таланта Улановой были и Вивьен Ли, и Кэтрин Хепберн.

К моему же восхищению гениальной балериной примешивается личная нотка: в детстве я побывала на отчетном концерте одной из московских хореографических школ, где почетной гостьей была Галина Сергеевна. Она произнесла небольшую напутственную речь юным талантам и так же кратко, но приветливо пообщалась со зрительным залом. В памяти осталась изящная, как фарфоровая статуэтка, несмотря на годы, фигура, элегантно платье и доброе, красивое лицо.



Грета Гарбо

Говорить об Улановой, не срываясь на восторженную патетику, трудно. Чего можно ожидать от простого смертного, если даже непререкаемые авторитеты в области балетного искусства высказываются о ней в самом высоком стиле? А.Я. Ваганова, прославленный педагог и балетмейстер, называла ее «неземным созданием», В.В. Васильев, выдающийся артист русского балета, балетмейстер и хореограф, говорит, что танец Галины Улановой в своем совершенстве сравним лишь с Моновой Лизой в живописи, великая английская балерина Марго Фонтейн называла Уланову первой балериной ее эпохи, прибавляя: «Я не могу даже пытаться говорить о танцах Улановой... Это магия», а О.Б. Лепешинская, еще одна легенда русской сцены, призналась: «Я счастлива, что танцевала в эпоху Галины Улановой».

Крупнейшие художники, работавшие в других направлениях искусства, влюблялись в ее проникновенный танец. «Уланова — неотличима и несравнима с другими танцовщиками. По признаку самого сокро-

венного. По природе тайны... Она принадлежит другому измерению», — писал Сергей Эйзенштейн, который хотел снимать ее в роли царицы в фильме «Иван Грозный». Один из самых исполняемых композиторов XX века С.С. Прокофьев отзывался о Галине Сергеевне, как о «гении русского балета», а писатель А.Н. Толстой восклицал: «Что такое Уланова? Обыкновенная богиня!»

С течением времени Уланова не «забронзовела»: став легендой мирового искусства, она продолжает вызывать к себе и своему творчеству живейший, не из-под дидактической указки интерес. Ее танец захватывает воображение, увлекает за собой мысли и чувства зрителей. У современных любителей балета она находит понимание не только как художник, но и как нестандартная личность.

В кромешно цифровую эпоху, когда частной информации не существует, когда контроль, если не тотален, то его как бы и нет, когда реальная личность отзеркаливается в мириадах виртуальных пространств, тогда человек, выбравший уединение и совершенствование в творчестве, как это сделала Уланова, вызывает удивление и восторг, граничащий с поклонением. На такую гамму эмоций провоцирует, например, писатель Виктор Пелевин. Но если он сознательно занимается мистификацией, то Галина Сергеевна была естественна в своем своеобразном затворничестве: «Жизнь моей души принадлежит только мне. О чем рассказывать? О том, как создается то или иное движение, как готовится та или иная роль? Смешно. Говорить, откуда черпают вдохновение? Странно». И это принципиальная позиция многих больших художников: «Я все сказал в своем произведении, и прибавить мне нечего».

Внимательно изучая историю жизни и творческого пути Улановой, нетрудно прийти к выводу, что исток ее блистательного искусства заключался не только в природной сверходаренности — во многом она сотворила себя сама.

ТАЙНА ИСКУССТВА РАВНА ТАЙНЕ ГЕНИЯ

Чтобы приблизиться к пониманию того, каким человеком была Уланова, и как она сотворила хореографическое чудо столь великое, что его сравнивают с бессмертными произведениями Леонардо — надо так же расправиться со стереотипами мышления, как сама Галина Сергеевна разрушила многие стереотипы классического балета. Например, что вы скажете о том, что «обыкновенная богиня» в детстве совсем не хотела заниматься балетом?

Годы юности балерины пришлось на тяжелый исторический период. Голод, нищета — а в училище можно



Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта — Г. Уланова

было поест. Необходимо было получать профессию. Чему могли обучить дочь мать, педагог хореографического училища, и отец, балетный режиссер? Разумеется, одному — балету.

Первым педагогом стала мама. Среди воспитанниц она дочь принципиально не выделяла. Не разглядела на первых порах в девочке будущую приму и второй педагог Улановой — Агриппина Ваганова. Лишь в конце обучения стало ясно: восходит настоящая звезда.

Годы обучения в Ленинградском хореографическом училище стали горнилом, в котором закалился ее характер. В юности тихая и болезненно застенчивая, она не могла ни улыбнуться на сцене, ни поднять глаз на партнера. Девушка мучительно перевоспитывала себя внутренне, чтобы преодолеть страх, и, наконец, почувствовать себя в свете софитов самой собой. Победа над собой — главная из побед. Улановой она оказалась по плечу: в 1928 году будущая прима окончила училище и была принята в труппу ленинградского Театра оперы и балета, причем, сразу в солистки — небывалый случай! День окончания хореографического училища Уланова всю жизнь отмечала как второй день рождения.



*Балет «Ромео и Джульетта».
Джульетта — Г. Уланова,
Ромео — К. Сергеев*

Галина Сергеевна постоянно занималась самообразованием: читала, посещала выставки, общалась с самыми умными и талантливыми людьми своего времени.

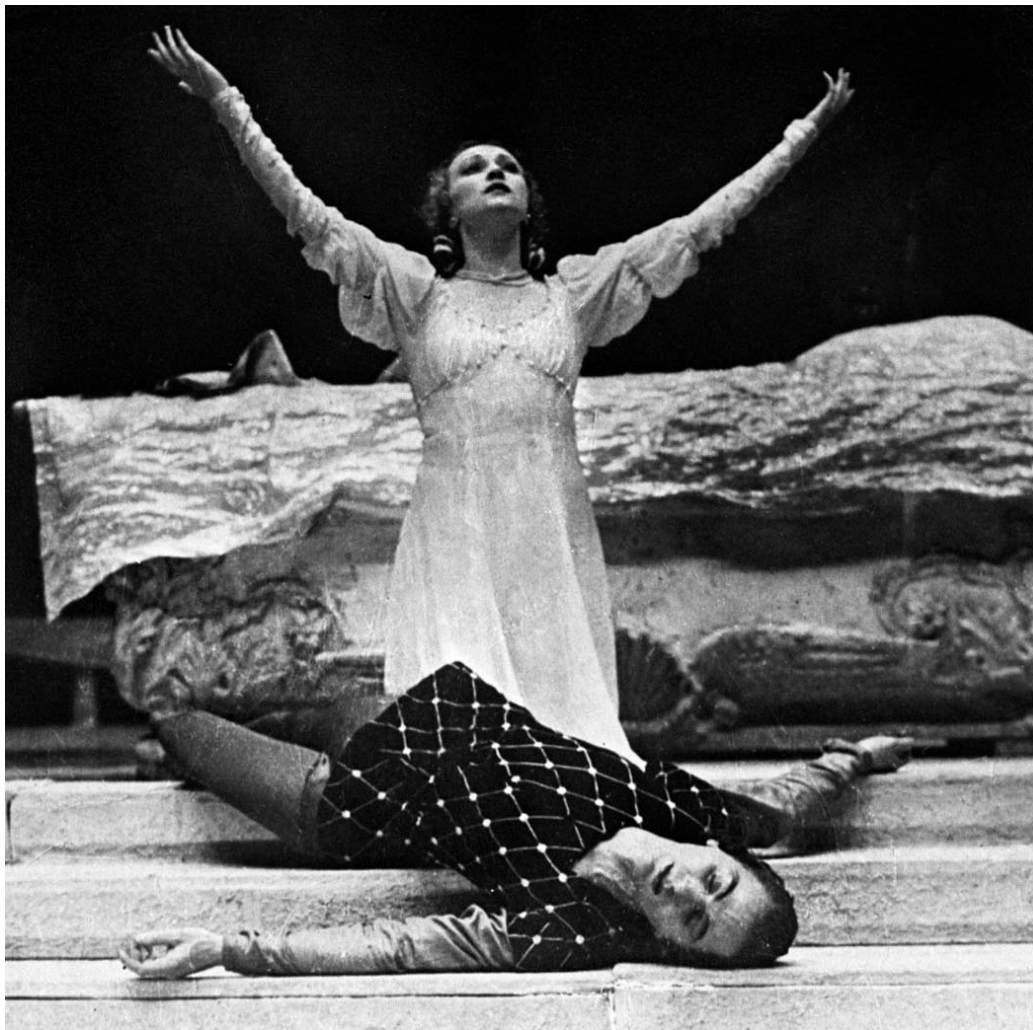
Значительное влияние на развитие ее артистических способностей, понимание природы художественного образа оказали драматическая актриса и театральная педагог Елизавета Ивановна Тиме и театральные режиссер, драматург и педагог Сергей Эрнестович Радлов.

Приведу эпизод из жизни балерины, иллюстрирующий ее жажду знаний и желание выйти за границы обыденного восприятия и понимания мира, который описывает О.Г. Ковалик в книге «Галина Уланова». Речь идет о посещении Улановой мастерской художников: «Галя стремилась не столько на сеансы к мастеру, сколько в дом Манизера, где она отогревалась душой, и где ей всегда было интересно. — Вот пришла, соскучилась, — говорила Уланова с порога. Здесь кипела творческая жизнь Елены Александровны и ее мужа, знаменитого скульптора Матвея Манизера. Коллеги называли его «сухарем». Возможно, в официальной обстановке он таким и был, но дома, рядом с молоденькой балери-

ной, такой обаятельно-сдержанной, он раскрывался: с блистательным остроумием делился впечатлениями о спектаклях, концертах, книгах, играл на виолончели, читал стихи, цитировал Дидро. Однако самыми запоминающимися были вечера, когда увлекавшийся астрономией Матвей Генрихович посвящал Галя в таинство звезд, будто собирал их в свои ладони и рассыпал над ней. Улановой казалось, что небо покорно нанизывало на его пальцы одинокие звездочки, а то и мерцающие созвездия. А он декламировал отрывки из «Божественной комедии» Данте. Небольшой сад перед мастерской Елены Александровны опрокидывался во вселенную, а стоящая там бронзовая фигурка Галины Сергеевны в позе бога Меркурия словно парила в эфире».

В дружеском кругу деятелей искусств Уланова черпала вдохновение и бесценные знания, постигала законы прекрасного, а у станка часами доводила до совершенства сложнейшие балетные па.

Галина Сергеевна тонко чувствовала природу: «Для меня... связаны между собой музыка и природа. И та, и та не могут быть поняты до конца, и обе удивительно



Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта — Г. Уланова, Ромео — М. Габович

на тебя влияют, завораживают. И природу, как музыку, надо научиться видеть и слышать. Настолько она неповторима и загадочна. И музыка, и природа дают не только эстетическое наслаждение, но и философское ощущение жизни».

Она любила спорт, обожала кататься на байдарке. Летом в отпуске на Селигере брала с собой в лодку патефон, уплывала в самую далекую красивую заводь и, лежа на дне лодки, слушала музыку и странствовала взглядом за тающими, как диминуэндо, облаками.

Любовь к природе пробудил в ней отец: «Отец мой был страстный рыбак и охотник, он брал меня в шалаш, где мы встречали зори, и поэтому я знаю, когда прилетают утки, брал меня на рыбную ловлю. Я была подручная своему отцу. Так что ранние годы у меня как-то связаны больше с отцом. Он меня научил и понимать, и чувствовать природу, и это мне, конечно, очень много дало потом, в дальнейшем. Вообще-то какие-то находки, открытия в моей театральной жизни происходили всегда на дугу, в поле, в лесу...<...> Медленные восходы солнца, разгорающийся блеск его лучей в рассеивающемся влажном, холодном предут-

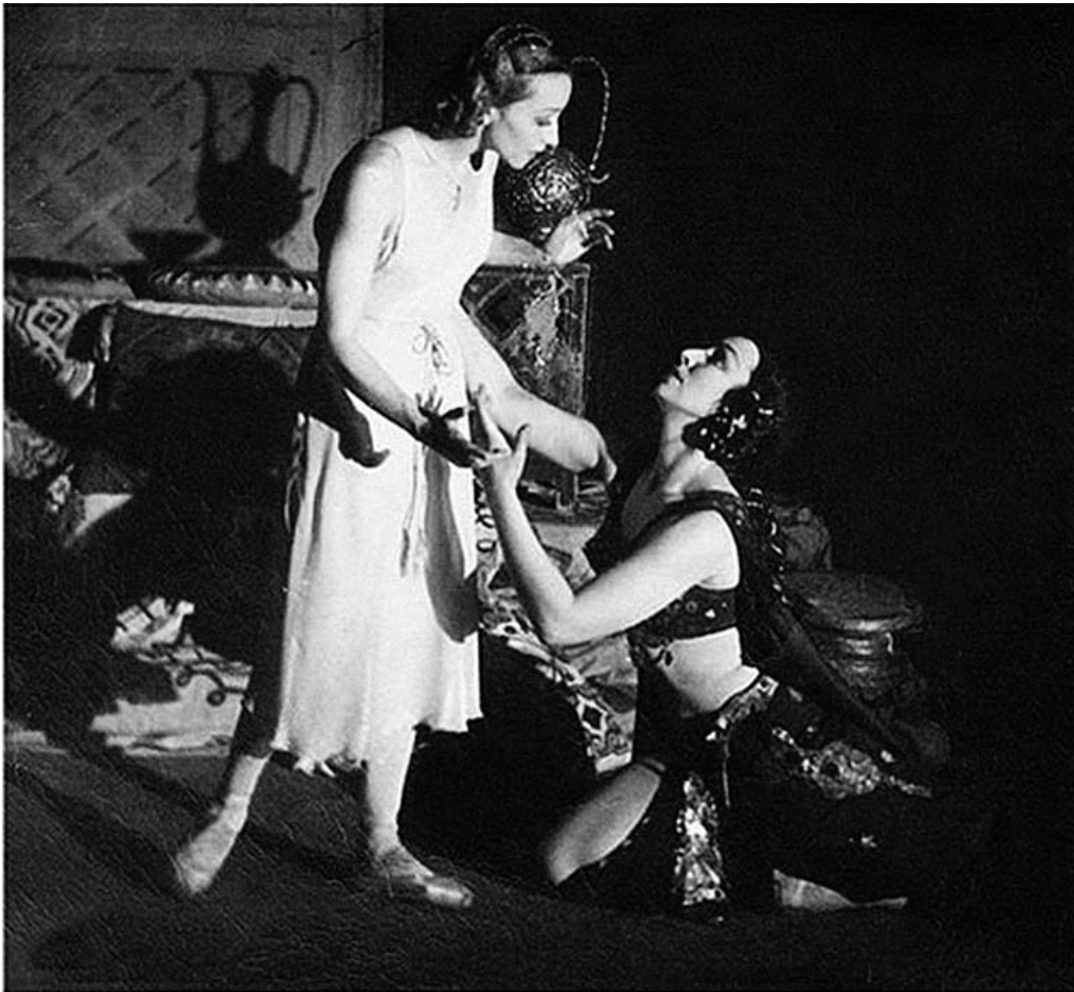
реннем тумане, пылающие закаты, едва различимые тропинки в лесу, росистые цветы — сколько мы видели вместе, и как это было важно для всего последующего, для всей «жизни в искусстве!»

Муж Улановой режиссер Юрий Александрович Завадский был уверен, что чуткость к природе позволила играть первую скрипку в искусстве балерины «гармонии разума и воображения».

Уланова была исключительно самокритична. Для нее было невероятно важно достичь той планки, которую она сама себе поставила.

Она умела концентрироваться, а это та ценнейшая способность, которой в наш интерактивный век лишены почти все поголовно. Ее размышления над ролью не ограничивались пространством репетиционного зала, она признавалась: «Гуляя в лесу или заваривая дома кофе, разговаривая со знакомыми или читая роман, всегда готовишь роль. Приняв ее в сердце, ты уже не освободишься от нее никогда...»

Уланова никогда не была поверхностной, старалась ухватить образ во всей его глубине и сложности. Несмотря на то, что ее репертуар и стиль ассоциируются с



Балет
«Бахчисарайский
фонтан».
Мария — Г. Уланова,
Зарема — И. Жевакина

самой высокой классикой, в свое искусство она внесла художественные и мировоззренческие искания нового времени, поэтому созданные ею образы так неортодоксально, пристально психологичны, в них равно активно сознательное и бессознательное начало, открытие которого в начале XX века значительно повлияло на многие сферы жизни человека.

Никогда не видели ее апатичной, небрежной, в дурном настроении.

Собственно, за предельную сосредоточенность и вовлеченность в творческий процесс на нее и повесили ярлык замкнутой одиночки, а за скромность и полное отсутствие жеманности называли «неулыбчивой балериной», хотя как раз эти качества, наряду с беспощадной самокритикой, самодисциплиной и, конечно, природными данными, во многом определили успех балерины.

В совершенстве постигнув законы естественной выразительности, гениальная Уланова соединила танец с драматической пантомимой, с тонким психологическим рисунком роли.

«СКАЖИ «УВЫ». СРИФМУЙ «ЛЮБОВЬ» И «КРОВЬ»

Самой большой ее артистической удачей считают создание образа Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» 1940 года. Одному из самых популярных балетов XX столетия в нынешнем году исполняется 80 лет.

Его премьера состоялась на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Спектакль в хореографии Л.М. Лавровского на музыку Прокофьева сразу был внесен в список главных балетов мировой сцены, наравне с «Лебединым озером», «Спящей красавицей» и «Щелкунчиком». Тем не менее, поначалу обстоятельства складывались так, что балет мог никогда не дойти до постановки.

В 1935 году Прокофьев в сотрудничестве с драматургом и переводчиком А.И. Пиотровским и режиссером С.Э. Радловым написали сценарий в четыре акта со счастливым концом, отличным от финала шекспировской трагедии. В начале 1936 года происходит катастро-



Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта — Г. Уланова, Ромео — М. Габович. 1953

фа: газета «Правда» в статьях «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» выступает с разгромной критикой двух произведений Д.Д. Шостаковича — оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и балета «Светлый ручей». Под гнетом грозящих репрессий Прокофьев и его соавторы изменили сценарий и ввели традиционную трагическую концовку. Однако Кировский и Большой театры уже отказались от постановок, опасаясь, что премьера балета может вызвать не только недовольство власти, но и настоящие преследования. 21 ноября 1937 года по обвинению в шпионаже и диверсии был расстрелян Адриан Пиотровский.

И все же в 1938 году премьера состоялась, за границей в чехословацком городе Брно. После грандиозного успеха в Брно еще два года балет был под запретом в СССР. Поставить «Ромео и Джульетту» разрешили только в 1940 году.

Лавровский сразу понял, что ему предстоит работать с гениальной музыкой, но как превратить ее в балет? Сложная новаторская музыка поначалу вызывала от-

торжение у артистов балета и музыкантов. Лавровский просил композитора изменить партитуру. Хореограф упорно искал подход к нестандартному материалу: он изучал в Эрмитаже художников эпохи Возрождения, читал средневековые романы: «В создании хореографического образа спектакля я шел от идеи противопоставления мира Средневековья миру Возрождения, столкновения двух систем мышления, культуры, миропонимания. Это и определило архитектуру и композицию спектакля».

Главные партии исполнил звездный балетный дуэт — Галина Уланова и Константин Сергеев. Л.И. Абызова, балетный критик, преподаватель Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, автор знакового учебника «История хореографического искусства. Отечественный балет XX — начала XXI века» так отзываясь о дуэте Уланова–Сергеев: «Артисты есть хорошие, а гармоничных отношений, духовной близости не получается. Дуэт в балете — явление редкое. А это был лучший дуэт всех времен».

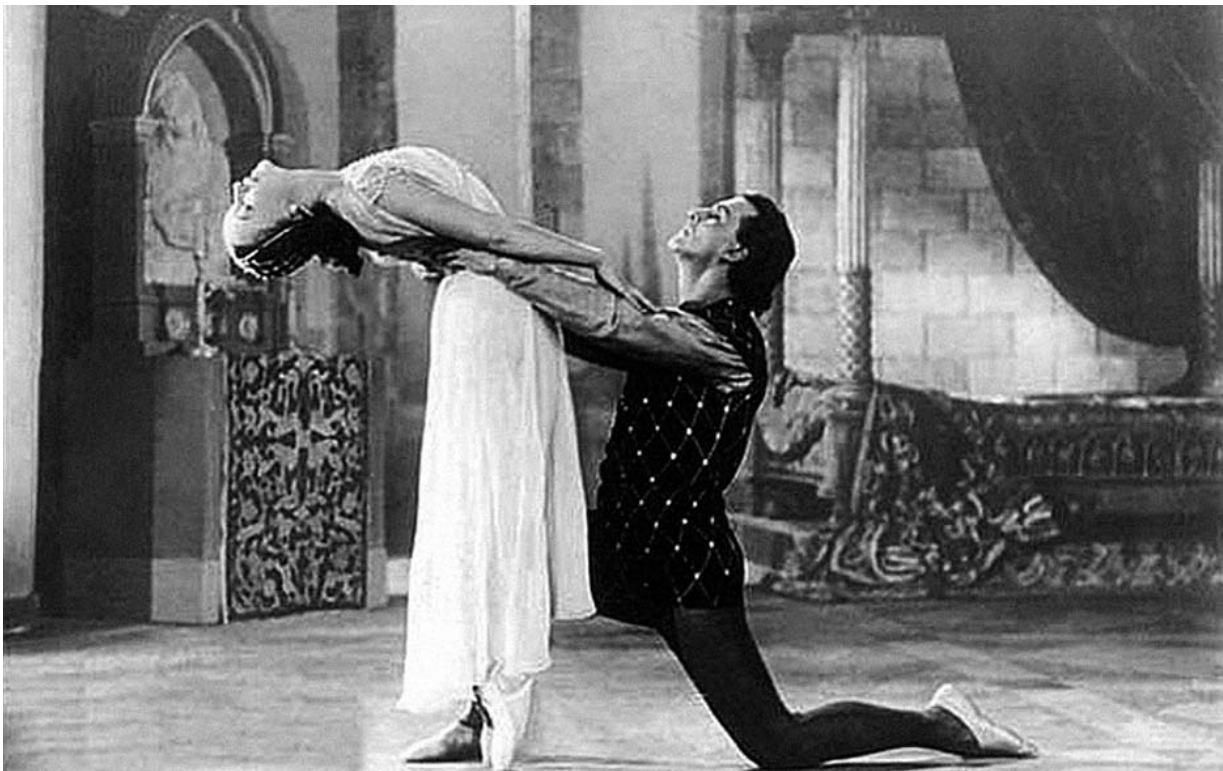
Уланова вывела на сцену Поэзию, сама Душа на кончиках пуант трепетала перед притихшим залом. Балерина танцевала любовь, которая не боится смерти и противостоит любому гнету.

Не забыть знаменитый «бег Джульетты»: кажется, не балерина движется по сцене — это сердце, словно соловей — к розовому бутону, готово выпорхнуть из груди навстречу любимому. Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета, ученик Улановой, говорит: «Только очень страстная натура могла сделать бег Джульетты. У кого огонь внутри».

При всей страстности характера ее откровенность была дозирована. В танце Улановой нет излишней экзальтированности и аффектации. Галина Сергеевна относилась к балету в хорошем смысле прагматично: выверяла мельчайшие детали, работала аналитично и скрупулезно. И не удивительно, что высочайший романтический идеал воплотила на сцене женщина с железной волей и трезвым взглядом на профессию. Романтизм в ней не синоним мягкости характера и «мечтаний при луне», а способность отстаивать свои чувства и идти наперекор всему во имя гуманистического идеала.

Владимир Васильев так объясняет секрет мастерства Улановой: «У нее была большая внутренняя накопленность, одухотворенность, которую она носила в себе, не выплескивая. Даже в самых поразительных моментах, там, где, казалось, должен звучать крик Джульетты, слышался крик, но через шепот. Эта недосказанность была лучшим импульсом для фантазии зрителя».

Спустя годы на музыку Прокофьева появились постановки зарубежных хореографов: Фредерика Аштона, Кеннета Макмиллана, Джона Ноймайера. «Ромео и Джульетту» ставили в крупнейших театрах Европы: Опера де Пари, миланском Ла Скала, Лондонском Королевском театре в Ковент-Гардене. А в 2008 году балетмейстер Марк Моррис поставил первоначальную версию балета со счастливым финалом для музыкаль-



Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (1954). Джульетта — Г. Уланова, Ромео — Ю. Жданов

ного фестиваля Колледжа Бард в Нью-Йорке. Затем балет побывал на театральных сценах Беркли, Норфолка, Лондона и Чикаго.

Интересно, что Рудольф Нуреев тоже ставил «Ромео и Джульетту». Легендарный танцовщик мечтал встретиться с Улановой. В ее гримерке во время зарубежных гастролей всегда стоял букет от Нуреева. Однако балерина, сложно относившаяся к его невозвращенчеству, деликатно, но неизменно уклонялась от встречи.

К слову, ее принципиальность, упорное дистанцирование от театральных и политических интриг и сплетен порой навлекали на нее неприятности, а раз она впала в немилость у министра культуры СССР Е.А. Фурцевой, когда в 1969 году стала председателем жюри Первого Московского конкурса артистов балета. Уланова хотела присудить первое место французской паре, а Фурцева настаивала, чтобы оно досталось советским артистам. Уланова была непреклонна. Тогда министерство учредило вторую золотую медаль. Это было силовое решение, и балетное жюри вынуждено было подчиниться партийному диктату: золотые медали получили и французские, и советские артисты.

... За 80 лет что балет Прокофьева живет на мировой сцене, десятки бесстрашных и мечтательных ромео и джульетт взошли на подмостки, чтобы рассказом о трагической любви тронуть сердца зрителей, но лучшей Джульеттой всех времен до сих пор считается Джульетта Галины Улановой.

ЖИЗЕЛЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вообще, до Улановой балет был скорее развлекательным искусством. Она придала ему глубину и серьезность, превратила в общение между людьми. По словам Лавровского, «Уланова принесла на сцену смысл исполняемого». Через пластику и жест ее душа разговаривала со зрителем. Играя на полутонах, избегая всего суетливого и избыточного, она добивалась тонкого акварельного рисунка роли.

Кроме того, в хореографию XX века она ввела целый ряд спектаклей-шедевров, ставших классикой: «Бахчисарайский фонтан», «Ромео и Джульетта», «Медный всадник», «Золушка»... Она обладала великолепными техническими возможностями, но ее талант заключался в том, что любой пируэт, прыжок был для нее не просто виртуозным техническим элементом, а совершенной пластикой, художественно передающей эмоции и психологическое состояние героини.

Любимейшей партией Галины Сергеевны была «Жизель». С невиданным доселе драматизмом она рассказала историю девушки, сошедшей с ума из-за предательства в любви. Движения рук, выражение лица и глаз давали обжигающее ощущение достоверности чистого драматического искусства, ибо Уланова была не только превосходной балериной, но и гениальной актрисой.



Балет «Золушка». Золушка — Г. Уланова



Балет «Жизель». Жизель — Г. Уланова

Об этом балете писали, что гармония между возникновением эмоции и ее выражением в пластике была найдена Улановой в партии Жизели так точно, ее движения были так естественны, без единого пустого мановения, что язык тела становился более певучим и полифоничным, более возвышенным, чем слово.

Галина Сергеевна, как всегда, работала самозабвенно, стараясь до тончайших нюансов передать психологическую и душевную подоплеку образа, в совершенстве выразить и внешнюю прелесть Жизели, и ее внутренний мир. Она находила особые краски для утратившей телесность, обратившейся в чистый дух девушки, которая, преодолевая границы иного мира, спасает погубившего ее возлюбленного.

И здесь Улановой, видимо, помогло увлечение искусством Греты Гарбо, в частности, изучение ее крупных планов. Тамара Федоровна Макарова вспоминала: «У Галины Сергеевны был настоящий «крупный план». А это — редкость не только в балете, но и в кино, хотя оно специализируется на этом. Улановские глаза, лицо жили жизнью глубинных мыслей, затаенных переживаний... До сих пор с замиранием сердца вспоминаю «крупный план» в сцене безумия Жизели: мгновенно бледнеющее и будто сразу осунувшееся лицо Улановой,

словно она во что-то неслышное вслушивается, взгляд отрешенный и одновременно самоуглубленный, взгляд не на мир, а вглубь собственной души...»

Особенно драматична была сцена, когда призрачная Жизель уже навсегда вынуждена расстаться со своим Альбертом: дыхание земной жизни постепенно покидает ее, тело утрачивает подвижность, одни только руки цепляются за любимого, защищая его от жаждущих мести призраков-вилис... наконец, остаются лишь пальцы, благословляющие Альберта.

В 1950 году корреспондент «The New York Times» Гаррисон Солсбери присутствовал в Большом театре на спектакле «Жизель» и на следующий день откровенно поделился впечатлениями: «Как можно записать на бумаге этот сон? Я не могу, это ясно. Единственное могу предложить: приехать в Москву, прийти в Большой театр и посмотреть Уланову в «Жизели». Это невероятное, фантастическое совершенство совершенства, невероятная мечта, ставшая явью, крылья бабочки, коснувшиеся ресниц, платье, как тончайшая паутинка в бриллиантах, поэма столь прекрасная, что болит сердце, чуть слышная песня. Это самое захватывающее и прекрасное, что довелось мне в жизни увидеть. ... Говорят о семи чудесах света. Вот оно — это чудо света!»



Балет «Жизель». Жизель — Г. Уланова

В том же году спектакль увидел Александр Вертинский, о чем вскоре писал жене: «... я был потрясен! Это какое-то чудо! Ни в России, ни за границей — никогда я не видел такой танцовщицы. Сравнить ее не с кем... Как она танцует! Ее тело поет как соловей — каждый жест, каждое движение, каждый мускул... Ее техника — невидимка! Она исчезает, растворяется в каком-то огромном вдохновении, которое зажигает все. <...> Боже, каких вершин и высот может достигнуть творчество! Это точно дух Божий!.. Так потрясать мог только Шаляпин!.. Нельзя передать словами это впечатление... Как удержать, сохранить на земле это чудо? Как оставить потомкам это Евангелие для грядущих веков, чтобы учились у нее этому высочайшему, божественному искусству?»

Балерина говорила: «Долго не поддавалась мне Жизель, а это самая желанная, самая любимая роль». Вспоминала, как однажды, задумавшись об этой партии, пропустила нужную остановку и случайно уехала в Царское Село. Оказавшись в уединенном уголке тенистого парка, она села на скамейку и принялась мысленно протанцовывать в воображении роль. Очнувшись завороченная собственными мыслями исполнительница от аплодисментов окружающих ее людей. Оказалось, она так живо ощутила себя в образе, что, сама того не замечая, затанцевала наяву.

«...РАНЕННЫЕ НАЗЫВАЛИ ВАС СЕСТРИЧКОЙ»

Зрители боготворили Уланову. Во время Великой Отечественной войны бойцы шли в бой с ее именем на устах. В те тяжелые годы она танцевала в театрах Москвы, Перми, Алма-Аты, Свердловска, Ленинграда, выступала перед ранеными в госпиталях. С фронта и в мирное время ей писали письма.

«Дорогая Галина Сергеевна! Хочется напомнить Вам, как Вы шефствовали над госпиталем № 2560 на ул. Куйбышева, где Вы часто выступали перед ранеными бойцами с концертами... Сколько радости Вы приносили в госпиталь этим изуродованным, искалеченным людям. Хочется напомнить Вам... Однажды Вы выступали перед ранеными в актовом зале. Это для тех, кто мог ходить, передвигаться на костылях, а кто лежал, не мог пойти. Они были в девятой палате — двадцать раненых обрубков без рук, без ног, а им тоже хотелось посмотреть и послушать музыку, забыть на время свой изуродованный облик человека. И после концерта в актовом зале, я решила подойти к Вам и попросить выступить перед

тяжелоранеными. Вы уже переоделись. Я Вам рассказала об этих несчастных людях, и Вы, несмотря на усталость, снова переоделись и выступили перед ранеными. Да, палата была тесная и душная. Это был маленький пятачок. Но сколько радости Вы принесли раненым! Они забыли, что у них нет ни рук, ни ног, что не могли Вам аплодировать. Но они с таким чувством глубокого уважения сказали искреннее спасибо. А после Вашего выступления они чувствовали себя бодрыми, называли Вас ласковым именем сестричка, и как будто у них шевелились пальцы на руках и ногах, которых у них не было. Хочется выразить Вам большую благодарность за Ваше чуткое и внимательное отношение к больным и раненым бойцам в годы Отечественной войны. Извините, пожалуйста, за письмо. С большим приветом.

Медсестра Динария Михайловна Полякова»

«Дорогая Галина Сергеевна!

На столе в землянке стоит Ваша фотография из «Ледяного озера». Фотография прострелена фашистскими пулями. Мы нашли ее в деревне, откуда два дня назад выбили врага. Теперь каждый день ставим к фотографии цветы.

Солдат Алексей Дорогуш»

«... Помните, был вечер в Большом театре, посвященный Вашему юбилею, так вот моя мама, перед тем как включить телевизор, вымыла всю комнату, как никогда не мыла, и когда смотрела телевизор, то сидела и плакала... Многие прекрасные и великие люди восхищались Вами, а я хочу передать восхищение и любовь от простой женщины — коренной ленинградки, моей мамы Ларионовой Аллы Кузьминичны, которая всю жизнь любит Вас. Целую Ваши руки и благодарю Вас за все.

Юля Ларионова»

В то огненное лихолетье лучшая балерина страны не отсиживалась в тылу, а разделила боль и лишения вместе с народом, то есть вместе со своим зрителем.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

После выступлений балерину забрасывали букетиками фиалок и ландышей, а ее популярность за границей была равнозначна успеху Анны Павловой.

В 1956 году впервые после долгих лет репрессий Большой театр выехал на гастроли в Лондон. Улановой было 46 лет. Она танцевала Джульетту. Успех был ошеломляющий. Чопорная английская публика безумствовала: овации длились более получаса, ухода королевы никто не заметил, а когда Уланова вышла из здания Ковент-Гардена, толпа понесла ее автомобиль на руках.

А вот как сама Галина Сергеевна в своих записках вспоминала те лондонские гастроли: «... Было очень страшно. Позже мы узнали из газет, что в зале присутствовали Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Тамара Карсавина, Марго Фонтейн. А сначала был просто страх, умный страх, ведь мы впервые гастролитировали за границей. Когда окончился первый акт, в зале стояла гробовая тишина. Какое-то мгновение, секунда, которая казалась вечностью. Неизвестно, куда эта тишина повернет... И что будет дальше? Будто перед грозой... Потом зал встал, грянули аплодисменты, крики... Никогда ничего не предугадаешь».

4 октября в «Daily Mail» главный английский балетный критик Арнольд Хаскел так отзывался о русском балете: «Выдающийся, роскошный, волнующий — таков балет из Москвы. <...> Балет Большого театра жизнерадостностью движений, великолепием инсценировки и силой воображения бьет весь свет. Я видел танцы многих стран, от Америки до Японии — они все уходят перед Большим». Об Улановой: «... так же, как до нее Павлова, совершает театральное чудо... В ней есть все: совершенная техника, скрывающаяся льющим без всяких усилий танцем, тонкий интеллект, исключительная чуткость. Она не просто балерина, царящая на сцене, она — на самом деле Джульетта, в судьбе которой мы все эмоционально принимаем участие. <...> Постановка пробудила наш сонный театр как торнадо. Великая Уланова начинает как шаловливый ребенок, затем превращается в золотую бабочку, сияя на солнце, в лепесток, носимый ветром, в сияющий дух, легко укрытый телом, витая на невидимых крыльях. Она великая трагическая актриса».

13 числа об Улановой в «Жизели» Хаскел пишет следующее: «... В ней что-то неземное: когда Жизель умирает, она не неподвижное тело артиста, но мертвая тяжесть безжизненного тела. В следующем акте она — чистый дух, невидимый, бестелесный и прозрачный, как легкий мазок кисти Коро. Видя такого артиста, у критика нет слов, и даже аплодисменты резко впадают в загадку великого искусства. Это был вечер той, о которой Давид Вебстер сказал: «Чудо — имя ее Уланова».

«СИЛА ПОБЕЖДАЕТ СИЛУ, КРАСОТА ПОБЕЖДАЕТ ВСЕХ»

Самая титулованная балерина за всю историю отечественного балета, Уланова покинула сцену в 50 лет, став педагогом-репетитором. Среди ее учеников были знаменитые балерины Большого театра Нина Тимофеева, Марина Колпакчи, Людмила Семеняка, Светлана Адырхаева, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Надежда Грачева, Алла Михальченко, Нина



Балет «Лебединое озеро». Одетта — Г. Уланова. 1949

Семизорова, Ида Васильева, Ольга Суворова и танцовщик Николай Цискаридзе.

Уланова работала с солистами Парижской «Гранд Опера», Гамбургского балета, Шведского Королевского балета, Австралийского балета, артистами Токио Балета и других балетных трупп Японии.

Она высоко ценила личность, уникальность природного дара: «Я не хочу повторения себя в учениках, — говорила Уланова, — это в любой области искусства порочный метод. Учитель, да не повтори себя в ученике, сумей раскрыть его природные данные, его индивидуальность».

Королева мировой сцены Елена Васильевна Образцова признавалась: «Я благоговею перед Улановой — художником и восхищаюсь Улановой — женщиной, обаятельной, изысканной, элегантной. Не всегда, не всем удается это сочетать. Она же остается такой и в пылу работы, и после репетиций, изнуривших всех. Я преклоняюсь перед Улановой-педагогом. Сколько нежности, сколько неиссякаемого терпения, сколько самоотречения в ее отношении к ученикам».

А меня душевно трогает также и ее редкая на сегодняшний день цельность как человека и художника. Вспоминая сказку «Стойкий оловянный солдатик» Андерсена, я бы сказала, что по совокупности личных качеств и дарований она была и сказочной балериной, и стойким солдатиком. Думаю, еще и поэтому она покорила своим танцем весь мир и, вероятно, по той же причине ее выражение лица, черты — удивительное дело — что в раннем детстве, где на фото маленькая Галя, мечтавшая стать матросом, изображена в морском костюмчике, что в поздние годы — почти не изменились. Большинство людей не узнают по их детским фото — так они переменились, а гениальной танцовщице удалось сохранить душу в кристальной чистоте и не утратить лица «необщее выраженье».

Галина Сергеевна Уланова ушла из жизни 21 марта 1998 года в возрасте 88 лет. Словами Гарсиа Лорки: «Душа ушла туда, куда была обращена: ввысь, в звездную гавань»... **ИБ**

Русский автор английской классической драматургии

Анастасия Дудоладова

В необычайно холодный и морозный день конца ноября на перроне Московского вокзала в Нижнем Новгороде я размахивала свежим номером газеты с портретом Андрея Корчевского, выискивая среди пассажиров «Ласточки» похожее лицо. В этот день в городе много говорили и писали о Шекспире, Первом кварте «Гамлета», российской премьеры и «живом авторе». Всякое историческое событие можно оценить, лишь рассмотрев его издали. Но мне удалось оказаться в гуще происходящего и понять, что человек по имени Андрей Корчевский — поддерживаемый множеством заинтересованных людей (издателей, редакторов, режиссеров, артистов) — привносит в российское культурное поле новую, хорошо известную в западной культуре, драматургию, которая, наконец, выходит на встречу с русским зрителем.

— Андрей Александрович, расскажите, как случилось, что математик и биолог, поэт и композитор стал еще и переводчиком?

— Начнем издали. Я родился в 60-е в Казахстане, в Алма-Ате, окончил университет, защитил кандидатскую диссертацию по математике, а потом уже так получилось, что после защиты докторской по биологии, а точнее токсикологии, мне поступило необычное, даже шоковое для меня предложение работать в США. Решение было принято, и мы уехали в Денвер, штат Колорадо. И вот как раз литература стала для меня главным мостом, который связывает с русским языком, русской литературой, то есть с тем, что составляет для меня самое главное в жизни и моем самовосприятии.

Стихи я писал с детского возраста, и достаточно рано начал публиковаться в Казахстане, у меня там вышло несколько книжек. Также увлекался поэтическими переводами, в основном с английского: Джон Донн, Джон Китс, потом понемногу и Шекспир. Не самые совершенные работы, но я надеялся, что когда-нибудь научусь. Перевод — интереснейший эксперимент, в особенности в поэзии. Это уникальное пространство смысла, формы и звука. Автор создает произведения в рамках своего языка, слышит их на своем языке. Когда мы при поэтическом переводе воспроизводим оригинал в пространстве другого языка, то словно бы пытаемся доказать возможность существования полного аналога поэзии, прорастающего на другой почве. Это как если бы мы представили живые организмы, в чьих клетках углерод был бы заменен другим элементом (как в



Андрей
Корчевский

одном фантастическом рассказе). Как будто есть объект, произведение, написанное на одном языке, и оно может быть, как в зеркале, отражено в другом языке. Мое ощущение, что как раз задача перевода — попытка приблизиться к оригиналу, рассмотреть его через линзу другого языка. Возникают удивительные чувства, если ты можешь добиться этого отражения, этой адекватности оригиналу. Или вообразите, что у каждого литературного произведения есть свой идеальный внеязыковой прообраз, который и воспроизводится на разных языках. И сама возможность существования хорошего перевода, пусть даже не идеального, позволяет нам подсмотреть в те сферы, где находятся подобные образы; вдруг это пространство за границами нашей вселенной... Что же говорить об идеальных переводах, об отчетливых голограммах, проявленных в разных языках. Можно вспомнить хотя бы мою любимую «Балладу о королевском бутерброде», которая одинаково блестяща как у Алана Милна, так и у Самуила Маршака.

— Красивая теория. В связи с этим вспоминается лекция Валентина Непомнящего «Странный поэт Александр Пушкин», где высказывается мысль, что поэзия Пушкина как раз непереводаема на другие языки. В ней нет «поэтичности» — метафор, прилагательных, звуковых решений. Обычная речь, которая звучит поэзией только для русского слуха. Собственно, да: я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе не совсем угасла. И тогда ваша идея об отражении в переводе некоего образа стиха не работает?

— Может быть, и у Александра Сергеевича все впереди с мировой славой. Эпохи — тоже как языки. И все же Пушкин идеально переводим со своего века на наш... Но это старая история — Пушкин в англоязычном мире всегда вызывал недоумение. Общее место, что он воспринимается эпигоном французов — а это в Англии просто не похвально. Прозвище-то у Пушкина было Француз в лицее; а вот вырос он до русского гиганта. Кстати, «Евгений Онегин» существует во множестве неплохих переводов; но об этом хорошо бы почитать лекции Владимира Набокова для американцев. И тут могу дать свою же цитату: «И тот арап, непереводаемый/ Ни на один — как его страна».

— Тогда как вы выбираете авторов? Или они выбирают вас? Открыли ли вы русским читателям новых зарубежных авторов?

— Я думаю, что русская культура исключительно восприимчива к другим культурам. Интереснее всего, конечно, переводить то, что еще неизвестно в России, и именно этим я занимался в последние несколько лет. Я перевел две знаменитые английские драмы елизаветинской поры: «Герцогиню Мальфи» Джона Уэбстера и «Хроники Перкина Уорбика» Джона Форда. У меня есть опыт перевода современного американского драматурга Дэвида Довалоса, его пьес «Виттенберг» и «Некто и компания». Мой фокус наведен на пьесы, потому что мне кажется именно их надо переводить. Сейчас знание иностранных языков становится культурной нормой, и все больше людей могут читать оригиналы, в особенности поэзию. А вот драматургия — это то, что должно быть переведено, потому что должно играть, и не на языке оригинала. Переводная драматургия будет расширять границы русского театра. «Герцогиня Мальфи» — следующее после шекспировских пьес по известности произведение английского Ренессанса, очень поэтическая и кровавая драма, воспевающая стоицизм, твердость перед испытаниями, силу любви и право женщины любить. Я видел спектакль по этой пьесе в Англии, и очень хочу, чтобы она появилась на российских сценах. Кстати, была не очень удачная попытка перевода этой пьесы в 50-годы, но она так и не была поставле-



Андрей
Корчевский

на. Я очень надеюсь, что ситуация изменится, ведь отрывок пьесы напечатан в «Современной драматургии» и «Герцогиня» готовится к изданию в серии «Литературные памятники». Надеюсь, что этот замечательный текст привлечет внимание режиссеров и директоров театров. Но Шекспир остается, наверное, самым главным драматургом для нашей сцены, я бы даже назвал его русским драматургом. Шекспир в России не просто был принят, переведен и понят — Шекспир стал предметом живого исторического интереса. Россию можно назвать родиной научного антистратфордианства, теории о том, что Шекспир не писал собственных пьес, что он был просто рядовым актером, одолжившим свое имя неким конспирологическим фигурам. Не хочу углубляться в вопрос, кто писал пьесы Шекс-

пира, но доказано, что значительную часть пьес великий бард писал в соавторстве. Так, он работал с Джоном Флетчером. Я хочу упомянуть еще один свой перевод, который вышел отрывком в «Иностранной литературе», а затем полностью в журнале «Современная драматургия». Это пьеса «Арден из Фавершема», которая заложила основы криминальной бытовой драмы, когда на сцене играли историю реального убийства и его расследования. Есть свидетельства, что часть пьесы написал Шекспир, когда только приехал в Лондон. И это расширяет шекспировский канон, и я счастлив, что теперь эта интереснейшая пьеса существует и в русском варианте.

— Как возникла идея переводить Шекспира? И как вам удалось открыть «неизвестного Шекспира»?

— Шекспир стал элементом русской культуры и театрального искусства. Он существует в огромном количестве переводов, и большая часть его произведений переведена. Но со мной произошла такая история. В 2014 году я стал победителем конкурса «Пушкин в Британии», прекрасного изобретения русского литератора Олега Борушко для русскоязычных поэтов, живущих в эмиграции. В конкурсе, например, в задании в качестве первой строки для стихотворения ставится пушкинская строка, часто посвященная Англии или чему-то английскому. Известно, впрочем, что Пушкин никогда не был за границей, и название конкурса несет еще некий ностальгический смысл для русских поэтов. Сейчас даже такой термин появился, говорящий о широте русской культуры и литературы — русское безрубежье. И вот, в тот год на конкурс для переводчиков был вынесен монолог Гамлета, который было трудно узнать. Он был непривычный, архаичный, немного странный. Я видел его в первый раз. Я перевел этот текст, и даже получил титул «Короля поэтического перевода», достаточно смешное звание. Но после конкурса, который, кстати, проходил в Стратфорде-на-Эйвоне, я заинтересовался источником этого непривычного монолога.

Шекспир — великая и загадочная фигура. Не сохранились его рукописи, идут споры о печат-

«Так я встретился с Первым кwartо «Гамлета». Это прижизненное издание «Трагической истории Гамлета, принца Датского» Шекспира, датированное 1603 годом, оно существует лишь в двух экземплярах. Этот текст сильно отличается от канонического текста 1623 года. Он гораздо короче...»

ных версиях его пьес. Так я встретился с Первым кwartо «Гамлета». Это прижизненное издание «Трагической истории Гамлета, принца Датского» Шекспира, датированное 1603 годом, оно существует лишь в двух экземплярах. Этот текст сильно отличается от канонического текста 1623 года. Он гораздо короче, но его композиция сбалансирована за счет перестановки некоторых сцен, в нем чувствуется мощная энергетика, хотя и отсутствует широкая речевая шекспировская палитра. Кто-то рассматривает его как «пиратский» текст, надиктованный по памяти актерами, игравшими в спектакле, отсюда и термин «Плохое кwartо». Но это может быть просто ранней версией «Гамлета», несущей в себе отголоски не дошедшей до нас дошекспировской сценической истории про датского принца. Некоторые уче-

ные предполагают, что это «гастрольный» вариант, который представлялся не только в Англии, но и других странах. Например, в Германии, где традиция уличных постановок «Гамлета» уходит корнями в этот текст. По моему мнению, это уникальный документ, несущий в себе эффект присутствия, когда мы слышим то, что смотрели первые зрители «Гамлета».

— Этой осенью ваши тексты вышли на сцену. В октябре состоялась премьера Первого кwartо «Гамлета» во Владикавказе, в Русском академическом театре имени Евгения Вахтангова и в Нижнем Новгороде, в театре «Вера». Как вы оцениваете результат?

— Для меня было откровением, что «Первое кwartо» почти одновременно вышло на нескольких сценах в России. Все это получилось стихийно, без всякого плана. Так порой те или иные тексты оказываются в нужное время в нужном месте. Я видел запись спектакля во Владикавказе — и поразился масштабом действия, культурологическими и литературными аллюзиями, карнавальностью этой работы, которую ставил народный артист РСО, заслуженный деятель искусства РСО-Алания, главный режиссер театра Валерий Попов. А вот на премьеру в театр «Вера» мне удалось приехать самому. «Гамлет» в Нижнем Новгороде — выразительный, трогательный, живой спектакль, очень подходящий к формату небольшого зала, где сцена предельно приближена к залу. Выросшая из театральной студии труппа подчеркнула все преимущества «сжатого» текста «Гамлета» — спектакль «на живом нерве», лишенный как навязчивого новаторства, так и архаики — думаю, стал важной ступенью в творческом развитии режиссера Владимира Червякова и всей труппы. Именно после посещения Нижнего Новгорода я решил взяться еще за одну нелегкую работу — я только что закончил первый вариант перевода «Ромео и Джульетты», также в версии самого первого издания, в формате кwartо. Надеюсь, что и этот текст придет на российскую сцену.

— Нет ли у вас желания произвести обратный ход и начать переводить русскую драматургию на английский?

— Я говорю на «американском» английском, у меня сильный и уже неисправимый акцент. Мне всегда кажется, что я даже пишу по-английски с этим акцентом. За всю жизнь я написал только одно стихотворение на английском и несколько песен. Я хочу остаться русским автором, пытающимся донести до русского зрителя строгую и интеллектуальную атмосферу английского классического стиха, атмосферу британской драматургии. А что будет дальше — увидим. **ИБ**

«НАНЕСТИ УДАР ВОЙНЕ И ВОЗВЕЛИЧИТЬ МИР»

Тимофей Прокопов

Имя Алданова, бесспорно, самое прославленное из имен русских писателей.

Георгий Иванов

Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком, и живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами.

Роман Гуль

Больше других издаваемый и самый читаемый романист русского зарубежья, многолетний претендент на нобелевское лауреатство (год за годом его настоятельно представлял на премию нобелевец И.А. Бунин) Марк Александрович Алданов (1886–1957) свой литературный путь начал век тому назад изданием двух книг, которые были не сразу замечены и оценены. Сегодня обратить на них внимание особое следует не только потому, что они сыграли определяющую роль в судьбе тогда еще только литератора-дебютанта, но и потому, что в них оживают и обостряются проблемы времени нынешнего: человечество в войне

всего XX столетия. На долю «Загадки Толстого», отмечает, скромничая, автор, «выпал у критики незаслуженный и неожиданный успех» (книга переиздавалась и на русском, и на других языках).

Во втором же труде, в «Армагеддоне», Алданов раскрыл свои мировоззренческие позиции. Перекликаясь с раздумьями о Толстом, они также оказались тревожащими и нас, сегодняшних, судьбоносная актуальность выдвинула их на первые рубежи в обсуждениях и спорах, дотянувшихся до наших дней. Философско-политические размышления еще не писателя, а пока только публициста и ученого рождены были годами общечеловеческих смут

«Философско-политические размышления еще не писателя, а пока только публициста и ученого рождены были годами общечеловеческих смут и беспокойств, когда Европа приходила в себя, переживая апокалиптические кошмары Первой мировой войны».

и мире; общества и страны, раздираемые междоусобицами внутренними и внешними, возвращающими нас снова и снова к вечному и неисчерпаемому — к человеку, к борениям в нем добра и зла, к зовам остановиться! опомниться! задуматься! найти согласие!

В первой своей книге — историко-литературном трактате «Толстой и Роллан», переизданном в Берлине с изменениями и под интригующим названием «Загадка Толстого», Алданов выразил собственные литературные пристрастия, прояснил свое особое (не такое, как в то время у многих) отношение к автору «Войны и мира», писателю и мыслителю, ставшему высшим авторитетом не только для него, но и, как он посчитал и убеждал в том других, Учителем для

и беспокойств, когда Европа приходила в себя, переживая апокалиптические кошмары Первой мировой войны. Россия же без всякой передышки ввергалась еще и в новую кровавую распрю — революционную, гражданскую, еще не сознавая, что принесет миру только что случившийся захват власти большевиками.

Совсем малая книжица «Армагеддон» полутайно, с пометой «На правах рукописи» была издана в Петрограде баррикадном, бунтующем и, может быть, потому постигла ее участь печальная: едва явившись, она была новыми властями изъята из продаж. Не повезло книге и в дальнейшем: до самого конца XX столетия она оставалась незаслуженно забытым, малоизвестным раритетом



Марк Алданов

Алданова, не включенным даже в его московские шеститомники 1991–1994 и 1994–1996 годов, в которых россиянам составителем-профессором А.А. Чернышевым было впервые представлено все лучшее из многостороннего творческого наследия одного из самых замечательных прозаиков русской эмиграции.

КАК В ХИМИКЕ УЖИВАЛСЯ ПИСАТЕЛЬ

Алданов, обронив однажды с небрежностью и со своей привычной ироничностью, что он всю жизнь любил «химичить», конечно же, имел в виду быть человеком, занимающимся важной ветвью науки, а вовсе не то, что в словарях приводится с пометой «вульгарное»: ловкач, пройдоха.

Марк Александрович с отличиями окончил в 1905 году классическую гимназию в Киеве, обретя там помимо общеобразовательных познаний еще и умение читать, говорить, писать на пяти (!) языках: немецком, французском, английском, древнегреческом и латинском (завидуйте, удивляйтесь, выпускники теперешних школ и вузов!). А в 1910-м, завершив образование в Киевском университете на двух (еще раз подивитесь) его факультетах, физико-математическом и правовом, одаренный юноша подался в науку: специализировался в ней по физической химии в парижской лаборатории. Вернувшись через два года из Франции домой, публикует в киевских «Университетских известиях» свой первый исследовательский труд: «Законы распределения вещества между двумя растворителями».

В дальнейшем, уже в петербургском «Журнале Русского физико-химического общества», парижском «Comptes rendus de l'Academie des Sciences» и берлинском «Zeitschrift für physikalische Chemie» он печатает новые работы, на основе которых через много лет, став уже знаменитым писателем, издаст на французском две монографии: «Лучевая химия» (1936) и «О возможности новых концепций в химии» (1950). Трудно сказать, как его исследовательские публикации принимались научным сообществом, сыграли ли они хотя бы малую роль в науке. Однако в серьезности этого увлечения нас убеждают встречи автора и долгие беседы на равных с теми, чьи имена теперь знает весь мир: Луи де Бройль, Поль Ланжевен, Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер. А еще то, что уже в тридцатые годы, переживая острый творческий кризис, он чуть было не оставил писательство, вознамерившись вернуться в свою химию.

Может быть, и правда: научный мир потерял пытливого искателя химических истин, но не это восхищает и радует, а то, что на протяжении всего своего писательского пути Алданов и в литературстве продолжал оставаться человеком науки. В русской словесности едва ли сыщется еще хотя бы один такой же энциклопедист, сочинявший романы с сюжетами не только занимательными, почти жюль-верновскими, порой детективными, но и научно выверенными, с опорой на подлинные события и факты. Хорошие писатели-историки у нас были, как Николай Карамзин, Евгений Карнович, были писатели-врачи, как Владимир Даль и Ан-



А.П. Чехов, М. Горький, Л.Н. Толстой

тон Чехов, были писатели-географы, путешественники и геологи, как академик Владимир Обручев, Иван Ефремов.

Мемуарист из ближайшего алдановского окружения (кстати, тоже «слуга двух господ»: математик, ставший композитором и музыковедом) Леонид Сабанеев, вот что написал об Алданове: «Во всем он был не поверхностно, не с налету, а глубоко и тщательно осведомлен. Я думаю, что другого русского писателя с такой эрудицией в стольких областях совершенно разных и не существовало... Не зря он говорил, что треть своей жизни просидел в библиотеках и за чтением книг». И еще одно важное заметил в своем приятеле музыкант: даже самые недалёковидные узрят, что все его писательство пронзает «известная научность мыслей и даже чувств». Вот почему мы, читая сегодня Алданова (книги эмигранта наконец-то в России издаются, хотя и скаречно, совсем недостаточно), должны доверчиво, с пониманием отнестись к тому, о чем он писал, ибо все это не только жадно им освоенное в библиотеках, но и прочувствованное, выстраданное, рассчитанное на удивленное восприятие всеми нами.

О ЧЕМ БЫЛИ СПОРЫ ПИСАТЕЛЯ С УЧЕНЫМ

Вначале — о мировоззренческой книге «Армагеддон», вводящей нас в философию творческой деятельности Алданова. Напомним: Армагеддон — это библейская легендарная местность (и город у подножия горы), где однажды собрались враждующие «цари вселенной» перед ожидаемой битвой последней (считалось: не будет других, ибо мир погибнет). В нынешнем толковании это была назревающая, народы устрашающая междоусобица, но не обычная, не из тех, каких во все времена бывало предостаточно, а почти то же, что историки назвали мировой войной, только войной самой распоследней, уничтожающей человечество (об этом и сегодня много судачат, одолевая страхи: разве возможна такая? неужто востребуется и дадут ей исполниться?).

Алданов открывает книгу двумя пространными эпиграфами, сразу проясняющими, чем взволновался автор и о чем настойчиво приглашает задуматься и нас. Из главы 16 «Апокалипсиса» («Откровения св. Иоанна»), главного пророческого повествования в «Новом завете», выбраны им вот такие «тайнозренческие» (его термин) слова-символы, предвещающие «конец света»:

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам.

Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя...

И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон...

И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!»

В главном труде философа Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» Алданов нашел для эпиграфа цитату, которая показалась ему весьма достоверной картиной человеческого жития, и потому заставил персонажей своего диалога порассуждать о том же, о чем когда-то размышлял знаменитый немецкий мудрец.

«Наш цивилизованный мир — великий маскарад, — разочарованно утверждал философ. — Есть там рыцари, духовные лица, воины, доктора, философы, адвокаты — и кого только нет еще. Но все это лишь маски, за которыми в большинстве случаев скрываются спекулянты. Один надевает личину права, чтобы удобнее ограбить соседа; другой для той же цели пользуется маской патриотизма или общественного блага, третий — костюмом религии. Знай же, что на маскараде этом яблоки сделаны из воска, цветы — из шелка, рыбы — из картона, и всё, всё там прах и комедия. Вот двое людей так вдумчиво беседуют друг с другом. Знай же: один из них продает гнилой товар, а другой платит фальшивой монетой».

На фоне и в сопровождении этих весьма скептических и даже ужасающих (нами узнаваемых, но не очень-то уверенно отвергаемых) речений Алданов в двух тесно взаимосвязанных частях книги — «Дракон» и «Колесница Джагернатха» — строит далее сомнения собственные, развертывает ему небезразличные размышления о «великом маскараде» вроде бы очень-очень цивилизованного мира. И еще тут

же — о том, что было, есть и, увы, остающемся всегда главнейшим: о Войне и о Мире, о человеке, постоянно раздражаемом всяческими беспокойствами, и о судьбах человечества. То есть о том, что далее найдет многогранное отражение во всем его творчестве (для которого, предполагают литературоведы, в Собрании не хватило бы и сорока томов).

В «Драконе», жанрово перекликающемся со знаменитыми диалогами античного мыслителя Платона, спорят и размышляют Химик (это сам Алданов, тогда еще только ученый-химик) и Писатель (это он же, но выступающий как общественный деятель). «Война есть зло. Война есть добро. Вот две аксиомы, между которыми нужно сделать выбор», — говорит в «Драконе» Писатель и приглашает Химика сделать свой выбор.

В «Колеснице Джагернатха», философских записках, продолжающих этот же не совсем мирный диалог, Писатель витийствует уже один, ибо он победитель в словесной перепалке с Химиком. Предмет же схождений и расхождений мятущегося правдоискателя и миролюбца с раздвоенным сознанием Алданов определил итальянским изречением, вынесенным в третий эпиграф: «Не все сумасшедшие находятся в больнице», который он далее развертывает в исповедально-пророческие рассуждения, такие, к примеру, как: «Европейская жизнь на ближайшие десятилетия определена тем фактом, что в цивилизованнейших странах мира будут гулять на свободе миллионы людей, которым разрядить ружье в “ближнего” ровно ничего не стоит».

Здесь опять прервем Алданова, ибо и у нас сами собой вспыхивают беспокойства вовсе не риторические: не портрет ли это, к примеру, нашей нынешней Украины, еже-

«Есть что-то невыразимо гнусное в этом убийстве больных людей, измученных тюрьмою. Пусть они понимали благо родины более узко, чем это понимают другие, но никто не посмеет сказать, что они не работали для народа, не страдали за него. Это были честные русские люди».

Так случилось, что именно в ту пору баррикадную, переломную, озаренную багрово-кровою сразу двумя государственным переворотами, познакомились и участвовали в встречи этих двух, казалось бы, ни в чем не схожих, почти во всем совершенно разных людей (и такими же оставшихся всегда): один — признанный классик литературы, другой — все еще только ученый-химик, пока не написавший даже рассказа-повести, но, правда, уже замеченный общественный деятель и публицист, возбужденно писавший об исторических событиях, которые обрушились на восставшую Россию. И в этих-то опубликованных размышлениях как раз и обнаружились совпадения взглядов и суждений Горького и Алданова. В 1916–1918 годах пятидесятилетняя знаменитость и тридцатилетний химик-книголюб встречались не раз, в том числе на многолюдных обедах в петроградской квартире Горького и актрисы М.Ф. Андреевой, а также «в разных комиссиях по вопросам культуры», где они увлеченно беседовали, при этом не всегда находя согласие.

О том, какими были встречи с Горьким, что их сближало и что разделяло и разделило окончательно, Алданов счел нужным вспомнить много лет спустя, в 1941 году, отмечая печально пятилетие со дня кончины классика: «Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большеви-

«Европейская жизнь на ближайшие десятилетия определена тем фактом, что в цивилизованнейших странах мира будут гулять на свободе миллионы людей, которым разрядить ружье в “ближнего” ровно ничего не стоит».

дневно обстреливающей свой же народ своего же Донбасса только за то, что возжелал он говорить на родном, на русском языке? Действительно — умопомрачение в масштабах большой страны, в которой Алданов родился и состоялся сперва как ученый. И еще: не Ближний ли это Восток, где некоторые вроде бы цивилизованные деятели и страны позволяют террористам разгульно бесчинствовать (чему благородно препятствует только Россия)?

Алданов в книге не удерживается и от того, чтобы порассуждать о своем наболевшем и тревожащем, о политическом: «В ночь торжества “последней войны”, современном Армагеддоне, распропагандированные хулиганы во имя социализма убивают “буржуев-кровопийц” Кокошкина и Шингарева» (министров Временного правительства только что провозглашенной российской республики. — Т.П.). Для публициста неожиданностью было то, что чуть ли не слово в слово в том же 1918-м и об этом же, о преступлениях «распропагандированных хулиганов», писал не менее возмущенно, чем он, убежденный гуманист Максим Горький, которого тоже взволновала и вызвала протесты расправа над революционными министрами в тюремной больнице:

ки, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те, и другие». Этому совсем недолгому сближению Алданова с Горьким содействовал вероятнее всего никто иной, как сам Лев Толстой: оба были во власти этой великаньей личности и ее творений, которыми зачитывались с пылом не меньшим, чем и весь читающий мир.

В тот революционный 1917-й у Горького произошло событие, которое его порадовало, как никакое другое: вдруг отыскалось то, что считал он навсегда утраченным, — рукопись о его давних, на всю жизнь запомнившихся встречах с Львом Николаевичем Толстым. 12 ноября 1901 года Горький приехал отдыхать и лечиться в крымский Олεις. Там узнал, что в соседней Гаспре, в имении графини С.В. Паниной, гостит автор «Войны и мира». Набравшись храбрости, он незваным-непрошеным отправился к нему с визитом. И был принят. Более того, их общение стало почти ежедневным, продлилось до конца января 1902 года и переросло в товарищество. После каждого гостевания Алексей Максимович набрасывал черновые записи: о чем говорили, что обсуждали, о чем вспоминал и высказывался Лев

Николаевич. Так родился замечательный очерк-документ, который у Горького неведомо как пропадет, но, к радости, отыщется и в 1919-м его издаст З.И. Гржебин.

«Я в последний раз видел его в июле 1918 года», — пишет Алданов о том дне, когда Горький позвонил ему и сказал: «Приходите, есть разговор». Таких разговоров и споров, то мирных, то непримиримых и даже враждебных, будет у них немало, пока не настал день их расставанья навсегда, когда «больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких-либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками».

Тут прервемся, чтобы отметить: Алданов, как и многие в эмиграции, не захотел знать и признавать очевидное, что «ссора» Горького с большевиками то вспыхивая, то угасая, не закончится никогда (см. об этом документальные свидетельства, приведенные, например, в нашей публикации «Горький советский и антисоветский: Россия Ленина в похвалах и осуждениях буреви́стника революции» // «Иные берега», 2017. № 2). В 1918-м «буреви́стик» непременно подписался бы под словами, которыми его молодой оппонент завершил свои антиреволюционные, антитеррористические и антивоенные рассуждения: «Цельный, единый процесс перехода потенциального зверства в активное продолжится. Хуже всего то, что мы, “оборонцы”, мы, люди культуры, обречены работать во славу мирового Ленина». Как раз об этом же из номера в номер вещал в ту пору и Горький в своей антибольшевистской газете «Новая жизнь», пока ее не прикрыл Ленин. Об этом были и горьковские антиленинские книги «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре» и «Революция и культура. Статьи за 1917 г.», которые на десятилетия, на все годы властвования большевиков попадут под цензурный запрет. Но в тот год все это еще читалось всеми заинтересованно, обсуждалось, и Алданов был в числе ярких спорщиков того времени.

В своем «Армагеддоне» устами главного персонажа, Писателя, он говорит: «Мы видим перед собою страшные кольца змея великой войны; стоглавый змей мировой пугачевщины может скоро вползти на арену. Какое из чудовищ победит? Какой ужасный дракон родится в результате поединка? Социалистический строй, говорят наши глубокомысленные пораженцы. Дракон всемирного одичания, склонен думать я». Алданову тогда же словно бы отвечает Горький своими удивлениями в газете: «Неужели эта проклятая бойня должна превратить и людей искусства, дорогих нам, в убийц и трупы?»; «Подумайте, читатель, что будет с вами, если правда бешеного зверя одолеет разумную правду человека?»

Эти острые вопросы далее им развертываются чуть ли не в обществоведческие обоснования, которые Алданов, начав встречаться с Горьким, не раз услышит и будет с ними соглашаться: «Вражда между людьми не есть явление нормальное — лучшие наши чувства, величайшие наши идеи направлены именно к уничтожению в мире социальной вражды. Эти лучшие чувства и мысли я бы назвал “социальным идеализмом” — именно его сила позволит нам преодолеть мерзости жизни и неустанно, упрямо стремиться



Марк Алданов

к справедливости, красоте жизни, к свободе. На этом пути мы создали героев, великомучеников ради свободы, красивейших людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано этим стремлением. Наиболее успешно и могуче будит в нашей душе ее добрые начала сила искусства. Как наука является разумом мира, так искусство — сердце его. Политика и религия разъединяют людей на отдельные группы, искусство, открывая в человеке общечеловеческое, соединяет нас. Ничто не выпрямляет душу человека так мягко и быстро, как влияние искусства, науки».

Разве могло такое вызвать возражения у молодого ученого-гуманиста, каким был в тот год и каким остался на всю жизнь Алданов? В тогда же изданном «Армагеддоне» (в диалоге «Дракон») он задается вопросом: «Для чего нужен Ленин?» и предугадываяще напишет: «Ленин компрометирует революцию и подготавливает реакцию». И опять ему в тон Горький заявляет в своей газете: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся, якобы по пути к “социальной революции” — на самом деле это путь к анархии».

Еще совпадение, вычитанное у Алданова: «Надо отдать справедливость лидеру большевиков, он не церемонился и со своей братией, когда последняя осмеливается выходить из-под ферулы учителя. Неподражаема его <Ленина> гневная статья о Г. Зиновьеве, испытывавшем мучительные коле-

бания перед вооруженным выступлением 25 октября. Совершенно так же честил Аввакум ученика, который как-то пошел против его воли: «Не помышляй себе того, дурак, еже от Бога тебе, кроме покаяния, помиловану быти... Кайся, трехглавый змий, кайся, собака дура!» Аввакумов ученик, как и г. Зиновьев, действительно, немедленно покался».

Большевик Г.Е. Зиновьев, и об этом свидетельствовал уже Горький, каялся не раз и не два, по-аввакумовски усмиря гордыню, в том числе и перед другим большевистским вождем, но если Ленин иногда прощал, то Сталин — нет: оступившихся или неугодных вносил рукой, не знающей пощады, в свои расстрельные списки. Среди жертв революционного террора окажется и Зиновьев, один из свершителей Октября и «друг Ленина», ставший «диктатором» Петрограда—Ленинграда, враг Горького, устраивавший у него обыски, однако, именно ему написавший 28 января 1935 года предсмертное покаянное письмо из сталинского застенка: «Помогите! Помогите!»

Горький (тот Горький, каким он был в революционные годы) опубликовал свой прямой ответ также на главный упрек Алданова и других, с ним согласных: «Я защищаю большевиков? Нет, я, по мере моего разума, борюсь против них, но — я защищаю людей, искренность убеждений которых я знаю, личная честность которых мне известна точно так же, как известна искренность их желания добра народу. Я знаю, что они производят жесточайший научный опыт над живым телом России, я умею ненавидеть, но предпочитаю быть справедливым». И еще: «Все то, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевиков, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс, — все это и многое другое, сказанное мною о “большевизме”, — остается в полной силе».

Алданов тогда (заметим: когда его домашние встречи с Горьким прекратились, и он оказался среди бежавших из России) не мог знать ничего (как и другие из эмигрантской диаспоры) о горьковском письме-протесте против массовых арестов среди интеллигенции, адресованном Ленину 6 сентября 1919 года. Вот строки из этого долго скрывавшегося послания, оставленного вождем без ответа:

«Считаю нужным откровенно сообщить Вам мое мнение по этому поводу: для меня богатство страны, сила народа выражается в количестве и качестве интеллектуальных сил. Революция имеет смысл только тогда, когда она способствует росту и развитию этих сил. К людям науки необходимо относиться возможно бережливее и уважительней. <...> Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг. Очевидно — у нас нет надежды победить и нет мужества с честью погибнуть, если мы прибегаем к такому варварскому и позорному приему, каким я считаю истребление научных сил страны. <...> Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает мозг народа, и без того нищего духовно. <...> Огромное большинство представителей положительной науки нейтрально и объективно, как сама наука: это люди аполитичные. Среди них большинство — старики, больные: тюрьма убьет их,

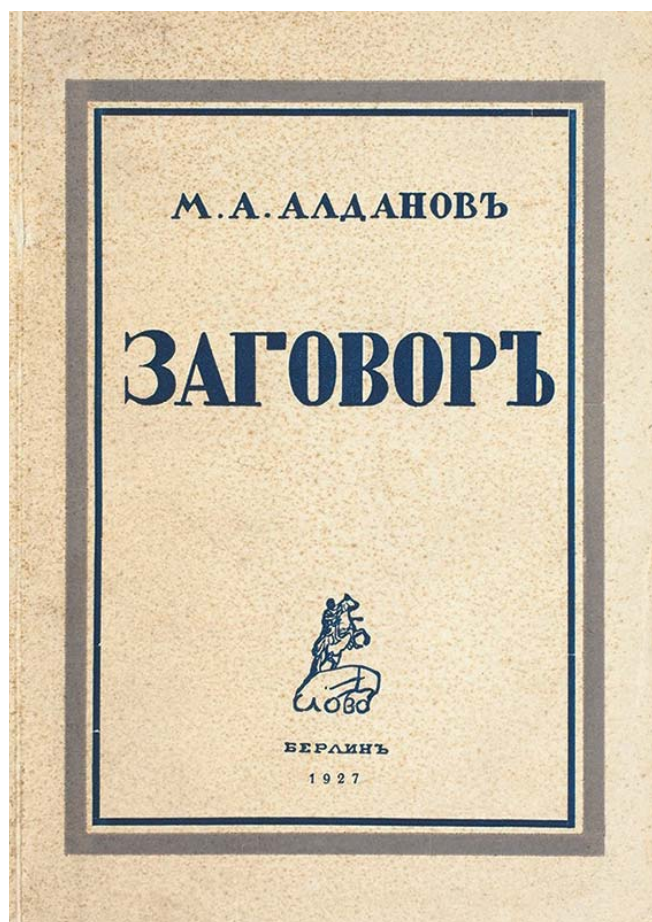


Обложка «Огонь и дым». 1922

они уже достаточно истощены голодом. Владимир Ильич! Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тюремное заключение участию — хотя бы и молчаливому — в истреблении лучших, ценнейших сил русского народа».

И завершил Горький свой протест фразой, указывающей, что он на «третьей» стороне противостояний, он там, где все гуманисты: «Для меня стало ясно, что “красные” такие же враги, как и “белые”, но “красные” тоже не товарищи мне». То есть оказался он в одной компании с многими интеллигентами той поры, которые задавали себе трагический вопрос, сформулированный тогда Максом Волошиным: «Кто же меня повесит раньше — красные за то, что я белый, или белые за то, что я красный?» Вскоре после этого письма Горький, отмежевавшийся в братоубийственной войне и от красных, и от белых, окажется и сам «нежелательным элементом», принужденным выехать в 1921 году в «добровольное изгнание» (правда, по «дружескому», но очень настоятельному совету Ильича, знавшего, что грозило писателю, останься он в России).

С отбытием в изгнание Алданов Горького опередил: он еще осенью 1918 года (вместе с экс-премьером Временного правительства Г.Е. Львовым) выехал в Одессу, намереваясь оттуда отправиться в Европу. Тогда же он согласился принять назначение секретарем делегации Союза возро-



Обложка романа «Заговор»

дения, в составе которой позже объездит столицы нескольких европейских государств, ведя переговоры о военной, финансовой и политической поддержке тех, кто противостоял большевикам. Отсчет его эмигрантства начался с марта 1919 года и был он отмечен выходом в свет в Париже его первой беженской книги на французском языке — «Lenin». Вслед за нею последовали продолжения: «Две революции: революция французская и революция русская» (Париж, Рим, 1921; на французском и итальянском языках), «Огонь и дым» (Париж, 1922; на русском). Это были его новые книги-размышления о том же, что и в первых двух, — о событиях в России и о человеке-вожде, которого только что узнал весь мир и о котором Алданов позже, в 1957-м, напишет: «Я его ненавижу, как ненавидел всю жизнь... Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал».

Одновременно с публикациями политической публицистики Алданов-эмигрант наконец-то предстал перед своими читателями еще и беллетристом: журнал «Современные записки» (1921) напечатал его дебютную повесть «Святая Елена, маленький остров». Она была о том, как бесславно кончилась жизнь великого честолюбца Наполеона Бонапарта, юбилей которого в тот год не без торжеств и величаний отмечала Франция. Может быть, поэтому книга Алданова была тотчас переведена и на французский, и на другие языки. Об авторе теперь стали писать как о подаю-

щем большие надежды писателе. На похвалы он отозвался тем, что надолго усадил себя за письменный стол — теперь уже за романы, из которых сложится его тетралогия «Мыслитель» («Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров»). Литературная эмиграция тотчас отметит: в их среде народился очень талантливый мастер прозы, да не простой прозы, не повторяющей кого-то, а новаторской, интеллектуальной.

Тогда же в контраст всем Горький в письме К.А. Федину от 10 февраля 1926 года назовет (точнее обзовет) «творчество» (это слово в письме именно так, в кавычках) Алданова «чрезмерно умным, но насквозь чужим», что сделало в эмигрантской среде чужим не Алданова, а еще более его, Максима Горького.

В 1923 году Алданов послал Б.К. и В.А. Зайцевым (одним из первых) свой только что изданный роман «Девятое термидора». Как читали писателя-дебютанта не только Зайцевы, но и вся эмиграция, Борис Константинович вспоминает: «Сейчас он стоит у меня на полке в скромном, но приличном переплете, а тогда вид его очень скоро стал просто аховым: мы с женой, читая наперегонки, разодрали его надвое, каждый читал свою половину. Потом его без конца брали у нас знакомые — позже переплетчику немало пришлось подклеивать и приводить в порядок. Это был дебют Алданова как исторического романиста. Большой успех у читателей».

Сравним это суждение с еще одним откликом того же Зайцева, с которым вскоре согласилось все русское зарубежье: Алданов «вполне писатель эмиграции. Здесь возрос, здесь развернулся. Тридцать пять лет этот образованнейший, во всем достойный человек с прекрасными глазами поддерживал собою и писанием своим честь, достоинство эмиграции. Писатель русско-европейский (или европейский на русском языке), вольный, без пятнышка. Без малейшего следа обывательщины и провинциализма — огромная умственная культура и просвещенность изгоняли это».

В годы, когда еще только писалась тетралогия «Мыслитель», узналось, что у прозаика-дебютанта, помимо Зайцева (с которым завязалась долгая и обширная переписка), появился еще один поклонник и друг-читатель, едва ли не самый верный, самый проникательный и взыскательный, однако не таивший своих пылких восхищений: Бунин. Получив очередную книжку «Современных записок», он сразу принимался в ней отыскивать алдановские тексты, которыми многие годы главный журнал русского беженства отдавал в каждом номере почти все то место, что отводилось художественной прозе. Алданова читал Иван Алексеевич с нарастающим интересом и наслаждением, которым возбужденно делился со всеми, кто в тот час оказывался рядом. Он и самому автору написал 6 марта 1950 года о том, что, читая один из его последних романов — «Истоки», «всплескивал руками: ей-Богу, это сделало бы честь Толстому».

Не умолчим, однако, и того, что дружба выдающихся писателей русского зарубежья совсем безоблачной не была, не всегда они поддакивали друг другу, но — высказывали свободно каждый свое, каждый уважительно выслушивал иномыслия и спорные суждения. Думается, настоящее дру-



Максим Горький, Иван Бунин и Николай Телешов, 1900

жество вот таким и должно быть. Г.В. Адамович однажды стал свидетелем такой сценки: Алданов с почти юношеской запальчивостью, кому-то возражая, заявил, что «великая русская литература началась лицейскими стихами Пушкина и кончилась на «Хаджи-Мурате»». Бунин же, для которого Толстой тоже был кумиром и божеством, однако в ответ «полусутоливо-полуворчливо возразил: «Ну, Марк Александрович, зачем же такие крайности? Были и после Толстого недурные писатели!»» Тут всеми, конечно же, услышалось плохо скрытое тщеславное: самолюбивый Иван Алексеевич среди «недурных» имел в виду прежде прочих себя, поскольку он только что, в 1933-м, был вознесен над всеми Нобелевской премией.

Произнося свою категоричную фразу, вызвавшую «дружеское» несогласие не только Бунина, Алданов, человек мягкий и незлобивый, из тех, кто и мухи не обидит, позволил себе, может быть, впервые с такой требовательностью высказаться о современной русской литературе. Неужто не пожелал увидеть на литературных взгорьях своего времени никаких высот, в том числе Бунина, да и самого себя, и многих других из своего окружения, например, Шмелева и Зайцева, Ремизова и Куприна, и даже Мережковского с его всеми тогда читаемыми «Иисусом неизвестным», «Данте», историческими хрониками, тщеславно мечтавшего, как и Бунин, о Нобелевской пре-

мии? Список достойных имен в русской литературе XX века вовсе не был скудным и не обрывался он 1904 годом, то есть «Хаджи-Муратом» Льва Толстого, как посчитал Алданов (позже он поправит свое дискуссионное суждение похвальными статьями о писателях-современниках).

«КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ»

Всестороннему рассмотрению судеб России, истоков протестных движений в ней и сопутствующих им противостояний, в том числе антибольшевизма XX столетия, непримиримого, как и у Горького той поры, Алдановым пока только заявленного, едва обозначенного в диалогах «Армагеддона», будет им впоследствии, помимо тетралогии, посвящен также весь его исторический цикл из шестнадцати романов и повестей. Подобно бальзаковской «человеческой комедии», многотомной и разножанровой (Бальзака он в 1947-м сделает персонажем своей «Повести о смерти»), алдановский многотомник тоже станет масштабной историей в лицах и событиях, показывающей, какой путь прошла монархическая Россия за двести лет: от «позорного» года правления Петра III (в 1761–1762-м), свергнутого его женой Екатериной II, до репрессивного владычества Ленина и Сталина. О большевистских вождях он напишет еще и портретные очерки, а также роман «Самоубийство» (1956), который станет скорбным повествованием не



Обложка романа «Истоки». 1950

столько об участвовавших покушениях отдельных людей на свои жизни, сколько о самоубийственном крахе самой России в революционном беспределе, достигшем ее в 1917-м. Повторно изданная в Париже в 1977 году на тончайшей («папиросной») бумаге и в карманно-блокнотном формате, эта книга Алданова станет единственной из им написанных, которой хоть и тайно, но удалось (в карманах путешествующих) преодолеть кордоны и оказаться в руках читателей Советского Союза.

К романам сериям-многотомникам, многое в них комментирующе объясняя и обогащая подлинными свидетельствами, присоединятся десятки других публикаций Алданова — статей, литературных биографий, мемуарных очерков, записок, составивших книги писательской публицистики: «Современники» (Берлин, 1928), «Портреты» (Берлин, 1931; Париж, 1936. Т. 2), «Земля, люди» (Берлин, 1932), «Юность Павла Строганова и другие характеристики» (Белград, 1934), очерковый цикл «Картины октябрьской революции» (1930-е). В течение всей своей жизни писатель-мыслитель будет вновь и вновь возвращать читателей к самым беспокойным, «вечным» вопросам, коими и до сих пор человечество не перестает задаваться.

Алданов вспоминал, что болью в сердце в нем откликлось, когда он писал: «Покажутся слишком жалкими народные массы в своем невежестве, в своей тупости, в своем бессердечии; «любовь к дальнему» будет искать сил в чувстве жалости и презрения к «ближнему». Будут при-

ходить к социализму, как Толстой к христианству — «от противного». Будут исходить из того, что всё другое еще хуже». Говоря так, писатель далее напоминал нам ставшее для него едва ли не самым волнующим, хотя и книжным открытием: «Далеко не всегда в основе коммунистических настроений лежала действенная любовь к народу». И примеров-подтверждений тому Алданов-книголюб тогда же отыскивал тьму тьмущую. В своем «Армагеддоне» он привел из них самые популярные, на поверхности лежащие и кричащие, нас приглашающие читать и поучаться.

Вот первый из народоненавистников — Платон, любо-мудр античности, аристократ по рождению. «Немногие из остроумцев нынешней буржуазии, — пишет Алданов, — отпускали по адресу «товарищей» больше язвительного негодования, чем можно найти на этот счет в творениях эллинского мудреца». И в назидание цитирует их для нас, чтобы и мы подивились тому, с каким навязчивым упрямством и тщетой зывал мудрец к просвещенному правителю Сицилии тирану Дионисию, чтобы тот осуществил «в своей земле принципы коммунистической республики и тем самым открыл новую счастливую эру бедствующему человеческому роду». И получил ответ яснее ясного: «божественный философ» был продан в рабство, где оказался среди тех, кто и не ведал, что это такое: «счастливая вера».

А вот автор «Утопии» (1516), настольной книги будущих марксистов и ленинцев, Томас Мор, «по-большевистски» воспел идеальный строй общества, в котором нет частной собственности. Став благочестивым лорд-канцлером короля Генриха VIII, «любил только католиков; протестантов же терпеть не мог — и много еретиков всходило на костер... за непризнание католических догматов». Однако король Британии по каким-то зовам души переметнулся к лютеранам и отправил на эшафот своего конфидента-советчика, первого и самого выдающегося английского гуманиста.

Еще алдановский пример: монах-доминиканец Томмазо Кампанелла, творец другой утопии, названной им «коммунистической», заманившей и одурманившей мир, — «Город солнца» (1602). В ней, комментирует Алданов, автор-идеалист «излил свое презрение к массе в стихах, где народ называется диким, неразумным зверем, не ведающим добра и зла». Тяжкой судьбой завершилась его жизнь: он в пытках и страданиях провел 27 лет в страшной неаполитанской тюрьме.

А вот что уже в веке восемнадцатом написал умирающий Вольтер своему современнику и другу, философу-просветителю Жану Д'Аламберу (изречение сродни тем, что Алдановым вычитывались в годы Первой мировой войны, что слышим и мы в речах сегодняшних воинствующих идеологов): «Не дух человечности заставит всех нас заключить мир, а недостаток денег; мы будем резать друг друга вплоть до истощения запасов презренного металла».

«История учит тому, что она ничему не учит...» Приведа этот многими цитируемый парадокс, Алданов далее изумляется: какие только сроки не назначали вожди-терретики для торжества коммунизма на земле, однако он так и не осчастливил ни одну страну. Карл Маркс называл

даже даты, в которые осуществляются его мечтания: то 1850 год, то 1872-й, а Энгельс, пишет Алданов, «приурочивал социалистический переворот к 1898 г.» Наконец перенесемся в наше недавнее, еще не забытое — вспомним Н.С. Хрущева, заявившего на весь мир (и высмеянное всем миром) о том, что в 1980 году «мы будем жить при коммунизме». Ладно бы самих себя ввергали в заблуждения политические мечтатели, но ведь они «научно» одурманивали народы.

Всем своим творчеством Алданов вел читателей к выводу, до сих пор отвергаемому только нынешними ленинцами, но принимаемому большинством обществоведов: никакая из революций не принесла ни одному из народов того, чего от них ожидалось, во имя чего свершались, даже в СССР, где революционные переделки и перестройки длились дольше, чем где-либо еще: почти весь XX век.

Не сразу, а после долгих исторических экскурсов Алданов в своих романах пришел к дидактическому уроку и утверждению, которые (вот неожиданность!) нет-нет, да и нами тоже узнаваемые в сегодняшних политических баталиях: «По-видимому, России суждено служить школой наглядного обучения для Европы. Сколько лет мы являли миру воспитательное зрелище своеобразного осуществления “христианской монархической идеи”. Теперь на нас европейцы могут учиться, как не надо делать революцию». Завершил писатель сказанное новым сомнением: «Научатся ли, однако?..»

«По-видимому, России суждено служить школой наглядного обучения для Европы. Сколько лет мы являли миру воспитательное зрелище своеобразного осуществления “христианской монархической идеи”. Теперь на нас европейцы могут учиться, как не надо делать революцию».

По мнению Алданова, даже сам Толстой после долгих мировоззренческих блужданий стал-таки в конце концов политическим нигилистом...

Оглядывая свои дни и не находя ни в чем утешения, Алданов безрадостно цитирует пушкинское присловье «чем хуже, тем лучше», но со знаком сомнений и поправляет любимого поэта: «Теперь чем хуже, тем хуже». А в качестве примера припоминает одну из своих горестно-веселых минут, когда в газетах прочитал телеграмму о том, что «император Вильгельм пожаловал Железный Крест генералу Маннергейму». И в самом деле, как тут и нам вместе с Алдановым не посмеяться тяжко: ведь еще раньше этот же Маннергейм и за ту же войну, но от русского царя тоже получил орден. Напомним: генерал тридцать лет служил в войсках России, воевавшей с Германией, а в 1918 году возглавил армию Финляндии, воевавшую теперь уже на стороне германцев против России. Как тут было добропорядочному человеку и писателю, возмущаясь дурной нравственностью, еще раз не воскликнуть: «O tempora, o mores!» О времена, о нравы!

Таких переметнувшихся из породы Смердяковых (иначе говоря, предателей, изменников, подлецов без царя в голове) и в войнах, и в мирных днях было вовсе не один-

два. Одного из них Алданов даже сделал главным персонажем тетралогии «Мыслитель». Это — Юлий Штааль. В круге подлинных исторических деятелей, ставших романскими персонажами, он лицо вымышленное, но именно его вывел автор как их связующее звено, среди них он, по словам рецензента Михаила Осоргина, «олицетворение среднего, мизерного, мелкий бес повседневности, оказался именно тем фактором, который превращает пышную историю в суету сует. Штааль — кривое зеркало героического; там, где он появляется, божественное вянет и снижается до человеческого».

Попытки расплодившихся в XX веке русофобов (вкуче с нашими заблудшими, им подыгрывающими политиками) изолировать Россию, превратить ее в страну-изгой абсолютно бессмысленны и бесперспективны. К такому же выводу, напоминает нам энциклопедист Алданов, приходили русские мыслители давным-давно, еще задолго до Толстого и Достоевского. Вот, к примеру, Петр Чаадаев. Однажды высказанный им прогноз прозвучал в пушкинскую эпоху неожиданно, но читающие его сегодня изумляются не меньше, чем тогда, актуальностью этого исторического предвещья: «Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено

нам испытать, прежде чем свершатся наши судьбы?»

Приведя эти слова, Алданов вставляет свою оценку: «Странная судьба необыкновенной мысли Чаадаева, понять ее можно было только через столетие... Его прогноз, — читаем у Алданова, с ним соглашаясь, — поистине принадлежит к самым замечательным страницам этого трудного и рискованного жанра мысли». И не находим возражений, когда он же ставит далее чаадаевские суждения в один ряд с пушкинским знаменитым отрывком из «Капитанской дочки»: «Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка».

Все сказанное выше не раз цитировалось в эмигрантской критике, искавшей подтверждений, что Алданов не только в прозе, но и в публицистике оставался одним из самых читаемых, достигая в популярной ветви литературы высот очень значительных. Именно это утверждение, размноженное рецензентами и мемуаристами русского зарубежья, лучше всего объяснило, по какой причине наш выдающийся романист оказался в числе того писа-

тельского большинства, которых на их родине, в СССР, не только не издавали, но даже имена замалчивали. Почему? На вопросы, волновавшие тогда всех безродных, отвечали публично, в газетах и журналах, многие из его современников. Например, Юрий Терапиано свой ответ сформулировал политико-философски: «Он посягнул на прекрасную мечту большевистской доктрины о необходимости построения земного рая, ниспровергая всяческий детерминизм и возвращая человека, в смысле представления о его возможностях, к самой трезвой мере, говоря о суете всех формул и рецептов спасения мира».

Да мы и сами смогли бы ответить едва ли не так же, открыв для этого хотя бы одну из многих книг публицистики Алданова — например «Ленин» (1919–1922; пять изданий в Париже, Берлине, Милане, Нью-Йорке), «Картины октябрьской революции» (1930-е), да и любой из его очерков о российских вождях и властителях: о советском наркOME «Луначарский» (1923), «Убийство Урицкого» (1923), о главе Временного правительства князе Г.Е. Львове «Кутузов русской революции» (1925), «Сталин» (1927), «О Сталине и Троцком» и «Убийство Троцкого» (1940), о «революционной мадонне» «Вера Николаевна Фигнер» (1942). Чтение этих публикаций стало бы открытием для нас Алданова не только замечательного исторического беллетриста, но еще и острого, яркого публициста, жившего страстями своих дней, горячо на них откликавшегося. Он и в романах, и в исторических статьях об эпохах далеких размышлял о том, что сродни современности, что сближало свершающееся сегодня с тем, что уже когда-то было. Оказывается,

«Многочисленные характеристики и отзывы писателя о тех, кто рулил государствами и миром, становились у него с годами всё более жесткими, прямолинейными, ироничными, а порой и провидческими».

писатель и там, в прошлом и ушедшем, отыскивал для нас ответы на злобы своего времени.

Многочисленные характеристики и отзывы писателя о тех, кто рулил государствами и миром, становились у него с годами все более жесткими, прямолинейными, ироничными, а порой и провидческими.

Вот о Ленине: «Если б Ильич думал о людях часто, определенно, “художественно”, он не сделал бы ровно ничего. Сила его заключалась отчасти в том, что он об этом никогда не думал. Он играл, и свою игру, игру мизантропического, бесчеловечного социализма, строил на вековой ненависти бедняков к богатым». И сбился результат: «Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего, потерпели крушение и его теоретические, и его практические замыслы». Среди «практических» — едва ли не самое важное: «кадровая политика» вождя. Какой она была, Алданов со ссылкой на воспоминания социал-демократа В.С. Войтинского рассказывает: однажды «внимание Ленина обратили на подвиги московского большевика, которого характеризовали как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом: “Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к бо-

гатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя переменить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый”».

О подхваченной всем XX столетием «брезгливой философии правителей» читаем в алдановском эпизоде из очерка «Генерал Пишегрю»: «Каков подлец! — сказал Бонапарт, узнав о доносе Блана, и приказал выдать подлецу сто тысяч франков». Новое время внесло лишь одно уточнение: со сталинскими (как, впрочем, и с гитлеровскими, и всеми иными) доносчиками не надо было и расплачиваться, ибо довольствовались они малым, тем, что их не трогали, но часто и они (заслуженно!) попадали на те же нары и под дула тех же расстрельных пистолетов, что и жертвы их подлых доносов.

В итоге так и получилось, что теория революционеров строилась «на вере в человека, на вере в его достоинство, на вере морального усовершенствования, — практика же всецело исходила из предпосылки, что человек глуп, что человек подл и что надо его — о, временно, разумеется, временно! — для успеха, ради идеи, сделать еще более глупым и подлым». «Предпосылку эту, — цитирует Алданов далее эмигранта Войтинского, одумавшегося и отказавшегося от марксизма, — выработал Ленин, но он скрывал ее от нас до поры до времени, пока не оказалось возможным начать применение выводов. Мы, когорты политического преступления, последовали за ним, как всегда следовали, — он сумел воспитать в нас солдатские инстинкты и, как все полководцы, Божьей милостью, несложными способами добился нашей любви, страха и преданности».

Не менее точны, хотя и прямолинейны (как считали

некоторые из критиков) его суждения о Сталине, оказавшиеся объективными, временем подтвержденными, например, такие (отметим: еще в 1927): «Это человек выдающийся, бесспорно самый выдающийся во всей ленинской гвардии». Но далее о том, что отвращает от него, низводит до уровня преступника: «Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная, — этим он резко отличается от многих других большевиков. <...> Не помешало Сталину даже завещание Ленина — загробное письмо ревизора. Ленин его назвал “грубым человеком, нетерпимым в должности генсека”. Однако с должности этой его при жизни не убрал».

А вот Алданов о Гитлере, тоже еще довоенном, но с алдановскими, к несчастью для всего мира, сбывшимися предвидениями: «Да какая ж ирония — за Гитлером теперь идут миллионы людей, и не сегодня-завтра он, чего доброго, подожжет мир. <...> Ненавидит Гитлер и Россию — точнее, он считает русский народ низшей расой, вдобавок обреченной на гибель». И вывод, современно звучащий, хоть и сказан



*Г.Н. Кузнецова, И.А. Бунин,
М.А. Алданов, В.Н. Бунина.
Ницца, 1928 г.
Русский архив в Лидсе*

писателем еще в 1936-м: «Все учение Гитлера — ложь, не выдерживающая и снисходительной критики. Но сам он — живая правда о нынешнем мире, не прячущийся и страшный символ ненависти, переполнившей Европу наших дней».

Рисуя портреты революционных вождей, Алданов не однажды высказывался и о том, что вовсе не обязательно прибегать к оружию, добиваясь перемен больших и малых, исторически важных и сиюминутных. Об этом рассуждать писатель заставил, например, одного из персонажей двухтомного романа «Истоки» (1950), который говорит явно то, с чем согласен и автор: «Революция это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше решительно ничего не остается делать, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови... Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая надежда вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление».

Эти суждения гуманиста-миротворца перекликались и даже совпадали с тем, что говорилось тогда же многими современниками Алданова — и друзьями, и недругами.

И тут снова зададимся вопросом едва ли не главным в наших притязаниях понять, кем и каким был Алданов: почему история (хотя и очень им осовремененная) была избрана вдохновительницей всего его писательства? Марк Александрович размышлял об этом постоянно, что

подтверждает каждая из его книг. Например, в «Повести о смерти» находим такую фразу-разгадку: «От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое, в исторический роман». И сочувственно понимаем: современность Алданова была угрожающе опалена двумя мировыми войнами и тремя российскими восстаниями.

ВЕХИ ДРУЖЕСТВА С БУНИНЫМ

А теперь в поиске новых актуальных исповеданий Алданова опять вернемся к «Загадке Толстого». Свой замечательный трактат он начинает знаменитой «умозрительной» максимой из Иммануила Канта: «Две вещи наполняют мой дух вечно новым и всё большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». В кантовском изречении автором (в ряду многих-многих) увиделось наилучшее выражение философской идеи-дилеммы о «совершенном, гармоническом человеке», который живет, подчиняя себя высшей моральной заповеди. Немецкий философ свой «категорический императив» выразил формулой: «Поступай так, чтобы максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать общим естественным законом».

Однако для Толстого-мыслителя, по мнению Алданова, «существует только «нравственный закон». <...> «Звездное небо» Канта в толстовстве не находит места». И здесь начинались несогласия поклонника Толстого со своим учителем, который, однако, неизменно оставался для него и

любимым, и почитаемым: он всю жизнь, по свидетельству Г.В. Адамовича, «произносил эти два слова “Лев Николаевич” почти так же, как люди говорят: “Господь Бог”».

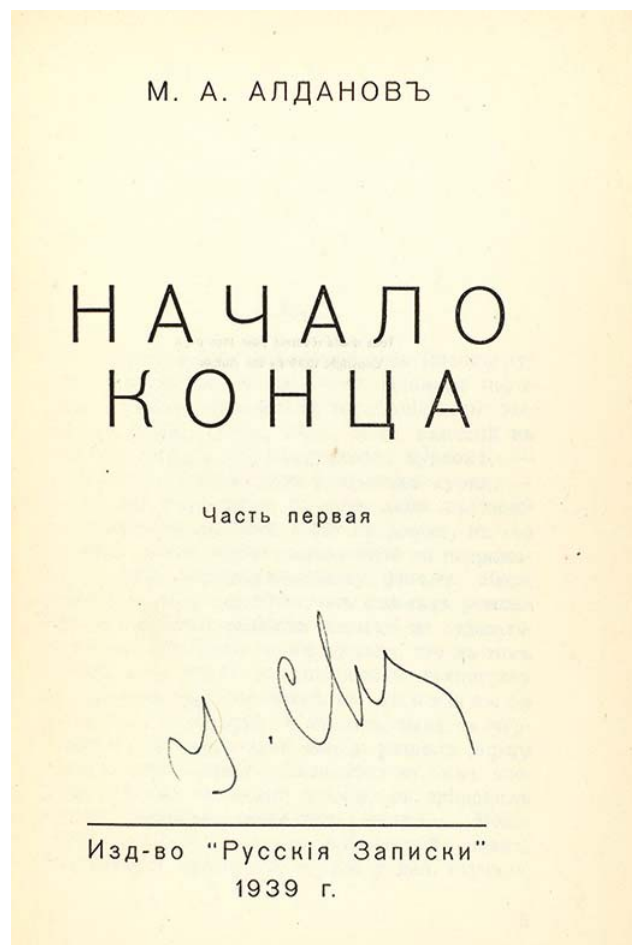
Миром правит Случай — в этом корень многих философствований Алданова, нашедших отражение едва ли не во всех его романах и повестях, особенно и почти итогово — в драме «Линия Брунгильды» (писалась в 1929–1930 годах, опубликована в новой редакции в 1937; действие происходит в 1918. Поставлена и с успехом шла в театрах Парижа, Праги, Варшавы). Писатель горестно, не зная, какими силами противостоять, взирал на то, как даже в самых развитых странах угнетенно обессиливался гуманизм, как обрушивались нравственные ценности, как то, что нынче закрепилось под кличкой «фейки», становилось чуть ли не центром политических, дипломатических, межгосударственных и всяких иных противоборств.

Казалось бы, ничего общего не было у Алданова, преемственника философии Случая, с его кумиром Толстым, исповедовавшим совсем иное — исторический фатализм, предопределенность всего, что свершается в мире. Но разве только то мы и любим, что сливается с нашими воззрениями? Разве кому-то в укор, что увлеченно ими читаются чьи-то гениальные творения с чуждыми убеждениями? Нет границ и нет (быть не должно!) запретов человеческому любопытствованию, стремлению познать и то, и это, отбрасывая скоротечные злобы дня, быстро и бесследно уходящие, однако навязчиво диктующие, что нам можно, а что воспрещается.

Все это словно бы впервые узнавалось читателями алдановских книг, в том числе романа, ставшего последним, — «Живи как хочешь» (1952). Это узнавание начиналось с его многозначного названия, за которым прочитывался еще и синонимный ряд утверждений: «думай как хочешь», «пиши как хочешь», «читай что хочешь», — как раз то самое, что вместе с Алдановым обретали все те, кого вынудили бежать из государства, в котором тюрьмами, казнями, изгнаниями из страны навязывались всевозможные (в первый черед политические) ограничения и недозволенности.

Название «Живи как хочешь», очень одобренное Буниным, Алданов отыскал среди афоризмов древнего грека Эпиктета: «Свобода есть не что иное, как право жить как хочется». Оказывается, мудрости этой не одна тысяча лет, а она до сих пор жива и современна: человеку снова и снова не позволяют жить свободно, так, как ему желается (естественно, не анархистски, а в согласии с общечеловеческими приличиями, этическими заповедями). Правда, выразил Алданов древнюю истину (в другом романе «Начало конца») по-толстовски парадоксально — как антиномию, как преодолеваемое противоречие: «Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира».

Любитель парадоксов, афоризмов и поучений, Алданов, еще когда в 1914-м завершал первый том историко-литературного трактата «Толстой и Роллан», вычитывал у «бесконечно умного Толстого» десятки его учительных остроумных речений («полемиически задорных», «исполненных



Обложка романа «Начало конца»

крайнего раздражения») и не без удовольствия принимался их цитировать, толковать, приспособливать к новому времени, испытывая при этом первооткрывательские переживания и радости. Как не подивиться вместе с Алдановым, читая у Толстого, например, такое: «Сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал»; «Конец есть новое начало» (уходящее всегда порождает нечто иное); «Чем учение человек, тем он глупее» (то есть поучайся неостановимо, ибо познание безбрежно); «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятого, но важнее»; «"Теория эволюции": из чего хотите может выйти все что хотите» (эквilibристика слов тоже без границ); наконец даже вопросы-недоумения, высказанные Толстым «любимцу женщин» Ги де Мопассану после прочтения книг, в которых, по его мнению, «господин Мопассан превращается в животное»: «Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — всё. А нет ее — ничего нет. Нет жизни».

Этими цитатами и чувствами Алданова, их включившего в книгу, восхитился одним из первых также Бунин, взявшись сперва просто перелистывать берлинское переиздание труда своего собрата по перу. А потом, увлекшись, Иван Алексеевич стал читать подаренную автором «Загадку Толстого» уже нетерпеливо, ревностно-въедливо и очень заинтересованно. Что так

это и будет, Алданов предвидел, потому что ему тогда довелось узнать: Бунин и сам был с давних пор пленником бесконечно трудных, но для него жизненно и творчески важных размышлений о «великом Льве», с которым ему в юности посчастливилось видаться и даже беседовать. Он, двадцатилетний, погружившийся в чтение толстовских шедевров, вот какие восторги-восклицания слал своему брату Юлию Алексеевичу: «Великое мастерство! Просто благоговение какое-то чувствую к Толстому!» И такую же молодую пылкость по отношению к Толстому довелось испытать и Алданову, более того: он и разделял ее до самых последних мигов жизни своего друга.

Беседы писателей, подружившихся с первых же встреч в эмиграции, редко проходили без хотя бы упоминания имени властителя их дум. Вот, к примеру, дневниковая запись Веры Николаевны Муромцевой-Буниной (отметим дату: 8 сентября 1920 года): «Вчера у нас обедало всё семейство Бальмонта и Ландау (это настоящая фамилия Алданова. — Т.П.). Были литературные разговоры, были и политические. <...> Бальмонт с раздражением говорил о Толстом, ему не нравятся ни “Война и мир”, ни “Казачьи”, ни “Анна Каренина”». Бальмонту, конечно же, решительно возразили и Бунин, и Алданов, назвавшие высказывания «короля модернистов» просто эпатажно-мальчишескими и невежественными.

Не с этого ли застолья установилось правило последующих домашних встреч у Буниных и у Алдановых: имя и деяния «великого Льва» для хулы неприкосновенны, о нем или хорошо и серьезно, или отмолчись? Насколько доверительными, искренними и многогранными были общение и дружба двух выдающихся деятелей русской

культуры, отразил трехтомный дневник «Устами Буниных», а также их обширная переписка (она заняла видное место в номерах нью-йоркского (основанного Алдановым вместе с М.О. Цетлиным) «Нового журнала» (1950) и в московском «Октябре» (1996).

Заглянем в дневник И.А. и В.Н. Буниных, в некоторые из свидетельских записей разных лет:

17 сентября 1933. «За последнее время опять — в который раз! — перечитал “Анну Каренину” и “Войну и мир”. Нынче кончил почти четвертый том — осталась последняя часть “Эпилога”. Про Наполеона неотразимо. Испытал просто ужас, и до сих пор обожествлен!»

1 октября 1933. «Прочел 2/3 “Воскресения” (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные) в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что ли».

А вот важная для нас запись, датированная 1 июля 1936 года: «Все занят “Освобождением Толстого”, — это Бунин о своей завершающейся работе над книгой (уж не по примеру ли Алданова, который в отклике на издание напишет: «По существу, думаю, между нами большого разномыслия нет... Прав или не прав Бунин в своем понимании освобождения Толстого, чрезвычайно ценно и интересно его освещение жизни и мысли величайшего из всех писателей».)

Еще один из ближайшего окружения Бунина — Борис Константинович Зайцев, вспоминая о нем в одну из годовщин его кончины, написал как о главной привязанности своего друга: «Бунин Толстого обожал. Иван был даже одно время “толстовцем” (о чем сам написал). С годами это ушло, преклонение же перед Толстым, толстовской зоркостью, изобразительностью осталось».

М.А. Алданов, И.А. Бунин, С.В. Рахманинов. На заднем плане — Г.Н. Кузнецова. Винтерффельд, 5 августа 1930 г. Русский архив в Лидсе





Правление Союза русских литераторов и журналистов в Париже.
Сидят (слева направо): В.М. Зензинов, Б.К. Зайцев (товарищ председателя), П.Н. Милюков (председатель), А.А. Яблоновский (товарищ председателя), В.Ф. Зеелер (генеральный секретарь и казначей).
Стоят (слева направо) члены правления К.И. Зайцев, Б.С. Миркин-Гецевич, М.А. Алданов, А.М. Михельсон, М.В. Вишняк, С.М. Соловейчик, К.К. Парчевский (секретарь правления).
Пари, февраль 1929 г.

«АХ, ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВОЙНА!»

То, что Алданов посчитал у Толстого самым видным и примечательным, он определил тогда еще не устаревшим эпитетом «лицевой», найденным у Даля: «лицо предмета составляющий». «Лицевой идеей» первой, той, что характеризует эпопею «Война и мир», Алданов назвал исторический фатализм, который, по его мнению, возник у автора из стремления развенчать императора французов: он ему был ненавистен «как отравляющее начало», из которого выводятся, плодятся и разбегаются по странам «маленькие и крошечные Наполеоны, прекрасно устраивающие свои дела», хотя и не метят «маленькие пешки» попасть «в повелители мира». Портрет «революционного императора» Толстой выстроил «на унижающих реалистических подробностях». «Как настойчиво он, — читаем у Алданова, — подкапывается под пьедестал, на котором высится легендарная бронзовая фигура, как явно показывает читателю “опухшее, желтое лицо”, “толстую спину”, “обросшую жирную грудь”, “круглый живот”, “жирные ляжки коротких ног” императора! <...> Толстой снимает с человека судьбы все украшения, вплоть до рубашки и нижнего белья. Наполеон ему отвратителен тем, что властно, насильственно пытается изменить жизнь, которая в своей красоте не переносит грубого вмешательства».

Вторая из «лицевых идей» толстовской эпопеи — пацифизм: «Толстой несомненно хотел нанести удар Войне и возвеличить Мир. <...> Но искусство в борьбе с войной натывается на трудности, которые тем значительнее, чем больше размер полотна и чем выше талант писателя», которому лучше, чем кому еще, видится: «В войне есть красота, страшная, но несомненная, неотъемлемая, и она должна обнаружиться в большом художественном про-

изведении». И продолжает, завлекая нас и убеждая: «Еще лучше те толстовские сцены, где открывается ад походных госпиталей, где шестнадцать лет от роду гибнет милый Петя Ростов, где французы и русские объединяются через цепь в общечеловеческом чувстве приязни, где полуголый французский солдат дарит Платону Каратаеву нужные ему “подверточки”, где русские люди ухаживают за полузамерзшим капитаном Рамбалем» («братанием» позже назовут эти «общечеловеческие», гуманные контакты противников, только что стрелявших друг в друга).

Однако при всем этом, считает (и даже упрекает) Алданов, эпопея Толстого не проникнута отвращением к войне и уж во всяком случае не внушает его читателям. Напротив, в большинстве военных сцен, может быть, вопреки воле автора, война вышла даже красивой, заманчивой, привлекательной. Пьер Безухов, глядя с кургана на Бородинскую битву, «замер от восхищения перед красотой зрелища». На Николая Ростова перестрелка действовала «как звуки самой веселой музыки». Князь Андрей на войне «имел вид человека, занятого делом приятным и интересным», а во время Шенграбенской атаки он даже «испытывал большое счастье».

Князя Андрея, умирающего на Аустерлицком поле, Толстой заставил уверовать даже в то, во что еще сам не верил, — в «высокое, справедливое, доброе небо», по сравнению с которым жалким показался ему «маленький Наполеон с мелким тщеславием и радостью победы». И далее: «Человеку надо жить, а для живого неверно то, что, быть может, справедливо для умирающего. “Как же я не видал прежде этого высокого неба? — спрашивал себя тяжело раненый князь Андрей. — И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него»». Это

как раз и было тем «общечеловеческим», которое людей объединяло, пробуждало в них лучшее.

Однако не забывает Алданов и о другом итоговом веровании, подсказываемом «Войной и миром»: «В юношеской среде, в которой зачитываются и вечно будут зачитываться гениальной эпопеей Толстого, она, наверное, создает больше военных, чем пацифистов». Но тут нам следует не пропустить, заметить сомнение, укрытое в слове «наверное», и заново озаботиться алдановскими вопросами. На главный из них — о пацифизме Толстого, якобы всецело им овладевшим, — Алданов отвечает так: «Это не единственный случай, когда одно начало натуры великого писателя утверждает нечто противоположное тому, что было существом второго начала. Художественное творчество Толстого дает сколько угодно примеров его изначальной двойственности». То есть одно дело — сама жизнь, в которую погружен «человек Толстой», и совсем другое — им «отраженная реальность». В сотворенном писателем, оказывается, сосуществуют и то, и это, а может быть, еще и третье, четвертое и т.д. — то есть все многообразие художественного вымысла.

Так и в отношении к Войне и к Миру: в толстовской эпопее рядом живут и протест против людских чудовищных

свободы, всех тех идей, которым мы служили... В мире в последнее столетие намечалось некоторое подобие рациональной цивилизации, однако первобытная природа человека радостно выперла наружу, и это подобие теперь гниет, разлагается, заражает».

Как бы продолжая этот «политический разговор» героев романа, Алданов в конце концов приходит к выводу, с которым нам, читателям, не очень-то хочется соглашаться: «С кровавыми ужасами войны нужно и должно бороться красноречием проповеди, еще лучше простыми данными статистики. Сухие цифры всегда убедительны, а в данном случае убийственны». Алданов-книголюб написал так потому, что то и дело в библиотеках натыкался «на недурную книгу против войны», которую он без капли сомнений зачислял в число тех многих, которые без всяких экивоков им определялись как отважные попытки нанести смертоносные удары Войне.

А что же с воспеваниями ратных геройств в толстовской гениальной эпопее? и что, к примеру, великие живописные полотна художников-баталистов, убеждающие нас в том, что «в войне есть красота»? Красота эта, и по Толстому, и по Алданову, обнаруживается даже в таких устрашающих, но зовущих к философским осмыслениям, как названные пи-

«Это не единственный случай, когда одно начало натуры великого писателя утверждает нечто противоположное тому, что было существом второго начала. Художественное творчество Толстого дает сколько угодно примеров его изначальной двойственности».

побоищ, и патриотическое «восхищение перед красотой зрелища», например, подвига нашего воинства, защитников Отечества в Бородинском сражении, ставшие лучшими страницами главной русской книги не только XIX столетия. Эта «двойственность» как раз из числа тех, которые и нами понимаются и принимаются.

Однако Алданову-миролюбцу все-таки много ближе было восклицание «Ах, всё лучше, чем война!», которое он вложил в уста героини романа «Начало конца» графини де Беллакомбр. Хозяйка популярного парижского салона (в коих и сам писатель был завсегдаем) произнесла эти слова очень театрально, «закрывая с ужасом глаза, точно уже видела перед собой горы окровавленных трупов». Однако жеманно сказанное вызвало продолжение серьезное и взволнованное, может быть, потому что как раз в тот год, 1939-й, и Франция, и СССР, и вся Европа замерли в устрашающем ожидании гитлеровских вторжений и нашествий.

Как и повсеместно, в алдановском парижском салоне все заговорили почти в унисон: «В том, что война ужасна, не может быть сомнений, как и в том, что она ничего не разрешает. Но каким способом можно избежать войны? Я думаю, твердость в отношении Гитлера...» И с этим в салоне не стали спорить, сошлись на том, что именно «в этом, конечно, основной вопрос: до какого предела могут идти уступки Гитлеру». А по словам участника беседы — французского беллетриста Вермандуа (его даже считали прототипом автора), «наступило начало конца культуры,

сателем и всеми знаемые «Торжество победителей» Василия Верещагина, как его же триптих «На Шипке все спокойно!», которые каждому демонстрируют не только драматизм жестоких будней войны, но и патриотическую героинку ратного труда, самопожертвованное мужество, нравственную силу народа, вступающего в смертоносную схватку с врагом.

«Все возможно, даже торжество добра», — это насмешливое изречение Анатоля Франса наш писатель и мыслитель процитировал как для себя главное и окончательное, однако, уже без тени шутильвости, на полном серьезе считая, что в этих словах — суть и высшая цель всех деяний человека. Какие уж тут шутки, восклицает Алданов, когда даже самые авторитетные создания человеческого ума и сердца — Коран, Талмуд, Библия устремлены именно к торжеству добра в борениях с сатанинскими противодействиями. И напоминает о толстовском завете: о «круговой поруке добра», того светлого, солнечно-небесного, которое несмотря ни на что победно торжествует, геройски одолевая темное, злое, вражеское и в войнах, и в революциях, и в мирных повседневных.

Доброе и радующее было властелином дум выдающегося деятеля нашей культуры Марка Алданова, и мы благодарны ему за то, что именно это жизнелюбивое и жизнеутверждающее сделал он главным героем, идейным знаменем своего творчества. Написанные им книги о далеком и близком прошлом навсегда вошли в перечни самых востребованных, тех, которые будут читаться всегда, потому что обращены они оптимистично к будущему. ИБ



Елена Попова-Люк

Окончила Школу-студию МХАТ в 1999 году — последний курс Олега Николаевича Ефремова, педагоги: А.Б. Покровская, Роман Козак, Дмитрий Брусникин, Андрей Панин. Работала актрисой в Театре «Бенефис». Заочно окончила Институт иностранных языков, преподавала английский. В 2008 году переехала в Брукингс, затем в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Преподают в школах и университете, учит эмигрантов английскому языку.

ФЛИП ФЛОПСЫ

Фатия родилась в Сомали. Хлебные лепешки, которыми в детстве ее кормила мама, на всю жизнь остались самой вкусной едой. Но когда началась война, вся семья: мать, отец и трое детей (у Фатии было два старших брата) переехали в Кению и поселились в лагере для беженцев. Там Фатие тоже давали хлебные лепешки, иногда их пекла мама, а иногда приносили соседи, но на вкус эти лепешки были совсем другие, и есть их особенно не хотелось.

Фатие было девять, когда первый раз к ним в поселение для беженцев приехали волонтеры из Америки. С того дня ее жизнь навсегда изменилась. Волонтерами были две женщины, одна постарше, вторая помоложе. Молодая очень понравилась Фатие, она ходила за ней хвостом по всему лагерю и внимательно прислушивалась к незнакомой речи, наблюдала, как эта странная тетя себя вела, как она одевалась, улыбалась, как всегда со всеми была приветлива. На второй день их знакомства молодая женщина, Фатия уже запомнила ее имя, Эми, подарила своей юной подруге леденец на палочке и туфли, каких Фатия никогда раньше не видела. Они были резиновые, одна подошва и сверху две перекрестные веревочки. И больше ничего, но в них было удобно бегать и по воде, и по песку. Они быстро высыхали, песок из них высыпался, в общем, Фатия так их полюбила, что носила потом и летом, и зимой. Американка смешно называла эти туфли — флип флопс. Фатия шлепала в них по лужам, а когда кто-нибудь из братьев оказывался рядом, она специально

подпрыгивала, обдавая попавшегося брата брызгами, заливалась смехом и кричала: «Флип флопс!» Ей казалось, что это какое-то магическое заклинание, и если она произнесет его тихо, важно и медленно, чтоб никто не услышал, то что-то обязательно произойдет. Она несколько секунд осматривалась по сторонам, ожидая увидеть, что соседская кошка вдруг заговорит по-английски, а еще лучше она сама, но этого почему-то не происходило, тогда она успокаивала себя тем, что надо подождать, когда соседская собака родит щенков или окончательно пересохнет ручей за их забором, в общем, должно произойти что-то особенное. Фатия это чувствовала и не торопилась.

«Еще просто не время, — думала она, — это заклинание исполняется не сразу, надо подождать». Почти каждый день, прыгая вдоль берега реки, собирая камешки и раскладывая их по кучкам, она повторяла себе под нос заветные слова: «Флип флопс, флип флопс...» И незаметно оглядывалась вокруг, посмотреть: не происходит ли уже то, что должно произойти. Но то, что должно было в ее жизни произойти, тайлось, пряталось в прибрежных кустах, сидело тихо и до времени ничем себя не выдавало.

Прошел год, и когда Фатие исполнилось десять лет, к ним в поселение снова приехали американские волонтеры. На этот раз двое молодых людей с камерами и фотоаппаратами. Они показывали детям и взрослым, как живут люди в Америке. Когда Фатия разглядывала эти снимки на экране одной из камер, ей вдруг показалось, что она уже видела этих людей раньше,

что она с ними знакома или вот-вот познакомится, и ей страшно захотелось нырнуть в камеру и оказаться среди этих красивых, улыбающихся девочек и мальчиков, таких далеких и таких интересных. Хотя, на самом деле, конечно, между ними и ей, маленькой сомалийской девочкой, подсакивающей на одной ноге и звонко выкрикивающей: «Флип», а потом перескакивающей на другую ногу и так же бойко отвечающей себе: «Флопс», не было никакой связи, глупо было и мечтать.

Вечером Фатия слышала, как ее мама и папа обсуждали друг с другом фотографии американских волонтеров. «Какие большие у них дома, — говорила мама, — с садом, с двумя этажами, а главное, там у каждого ребенка есть своя комната. Вот бы у наших детей у каждого было по комнате, и Фатие не нужно было бы делить одну комнату с двумя старшими братьями». «А ты видела, — продолжал отец, — какие у них машины... Эх, да на такой машине запросто можно объехать полстраны, она удобнее, чем весь наш дом».

Повздыхав и поохав, мама с папой вспоминали о том, что завтра рано вставать, что надо набрать воды и дать ей отстояться за ночь, замочить рис и постирать рубашки для ребят.

Фатия, лежа за стенкой в своей кровати, слушала, о чем говорят родители, и думала о том, что когда-нибудь у нее обязательно будет своя комната и такой дом, в котором у ее детей уж точно у каждого будет по комнате и машина будет — удобная, большая.

Когда американские волонтеры уезжали, вся детвора высыпала их проводить, а мама Фатии даже плакала и махала им рукой. Один из американцев нагнулся к Фатие, чтобы пожать ей руку на прощанье, а она вдруг, неожиданно для самой себя выпалила: «Дядя, а я скоро к вам приеду!» Американец удивленно посмотрел на нее, как будто сомневаясь, правильно ли он понял, что она сказала. «Ты к нам приедешь? Когда?» — чуть улыбаясь спросил он. «А вот скоро, — уверенно заявила Фатия, — вот увидите, я такое слово знаю!»

«Какое?» — заинтересованно спросил мужчина. Фатия сделала знак, чтобы он к ней нагнулся и заговорщически прошептала ему на ухо: «Флип флопс. Понял? Никому не говори!» Волонтер распрямился, сначала он несколько секунд беззвучно смеялся, прикрывая лицо ладонями, а потом снова нагнулся к Фатие и так же заговорщически проговорил ей на ухо: «Молодец, я тебе подарю целую книгу со словами, ты будешь их учить, а когда все выучишь, то приедешь к нам, о'кей?» Он так и сказал «о'кей», и это было слово, которое Фатия уже знала. Она кивнула и твердо сказала: «О'кей». И тут же, не удержавшись, подпрыгнула на одной ножке, хлопнула в ладоши и сказала себе: «Флип флопс». Ей стало понятно, что заклинание начинает действовать.

Поговорив с Фатией, американец быстро пошел в сторону своей машины, вынул рюкзак, достал из него какую-то книжку и какие-то бумаги и так же быстро

вернулся к Фатие. Ему надо было спешить. Он сунул все это в руки Фатие, дотронулся до ее плеча, развернулся и зашагал обратно к машине, его напарник уже сигнализировал ему, сидя за рулем. Они уехали. Дети и взрослые стали расходиться по своим делам. Фатия так и стояла посередине дороги с полученными дарами в руке, не зная, что с ними делать дальше. Тут подошли два ее старших брата и, выхватив у нее книжку и бумаги, стали рассматривать, что это взрослый американец оставил их сестре. Они быстро разобрались, что толстенная книжечка была словарем, а свернутой пополам оказалась карта штата Миннесоты и ее окрестностей.

С этого дня Фатия начала учить слова. В школе, которая была в их поселении, английского не было. Один учитель, их сосед по имени Гидажу, вел сразу все предметы. Он учил детей писать, считать и читать по самодельным учебникам. Фатие и ее братьям в школе было легко, а если случалось, что она забывала записать домашнее задание, то к Гидажу всегда можно было забежать, чтобы узнать, что он задал. Учитель жил через два дома от них. Он знал несколько фраз по-английски и научил им Фатию. Гидажу объяснил ей, что в Америке на вопрос: «Как дела?» надо всегда отвечать: «Все отлично», даже если у тебя не все так уж хорошо, потому что нельзя расстраивать другого человека своими проблемами, это неприлично. Вот и кажется, что в Америке все счастливые и довольные, и всегда улыбаются. Учитель помогал девочке читать транскрипцию слов в словаре, и через пару месяцев она знала уже все цвета, животных и умела считать до десяти.

По крайней мере, два или три раза в неделю она видела один и тот же сон. Он стал ей сниться после того, как она досконально изучила карту хайвэя, ведущего из Миннесоты в Дакоту. Ей снились дороги и несущиеся по ним машины. Она, Фатия, сидит в одной из таких машин и смотрит в окно на пролетающие мимо поля, открывающиеся впереди озера, мосты и небоскребы. Здесь Фатия обычно просыпалась, очень рано, в четыре-пять утра, и долго оставалась в кровати, фантазируя, что будет с ней, кем она станет в той сказочной жизни, о которой она столько слышала к своим десяти годам. Иногда она представляла себя шеф-поваром какого-то дорогого ресторана. Только она одна знала бы рецепты блюд из своей страны, и десять поварят с утра до вечера готовили бы эти вкуснейшие лепешки так, как умела делать только ее мама. А ее любимая рисовая похлебка и кукурузные хлопья, таких ведь больше нигде нет, не сомневалась Фатия. В другую ночь она была уже врачом и видела себя выпрыгивающей из вертолета где-то в лесных зарослях и спешащей на помощь охотникам, которых чуть не разорвал тигр, а может быть покусала ядовитая змея. Она-то уж знала, как им помочь, ее бабушка, Абеба, была известным лекарем в их деревне и с раннего де-

тства рассказывала Фатие о чудесных свойствах того или иного цветка или растения.

Так мечтала она, пока мама не звала ее к завтраку...

Прошло пять или шесть лет прежде, чем настала очередь семьи Фатии собирать документы и готовиться к переезду в Америку. Тысячи семей из Эфиопии, Сомали, Судана, Непала, Сирии и других стран хотели попасть в страну, сулящую им удобную, обеспеченную жизнь, тепло и уют, а главное, безопасность взрослым и детям.

Раз в год приезжавшие волонтеры всегда задавали Фатие и ее братьям одни и те же вопросы: «Хотите жить в большом, красивом городе, где будете учиться и работать?» Они всегда отвечали утвердительно. Конечно, по сравнению с братьями Фатия преуспела в английском и знала уже много слов и выражений, но практики было мало, и речь ее еще трудно было разобрать.

Почти два года ушло на оформление документов, хождение на собеседования и приемы у врачей прежде, чем семья Фатии с двумя небольшими чемоданами на всех пятерых, совершила свой знаменательный перелет из одной страны в другую. В Миннеаполисе их встретил на машине двоюродный брат матери, который перевез сюда свою семью два года назад. Их радости не было предела, вещи погрузили и отправили на съемную квартиру в Су Фолзе штата Южная Дакота, которую брат снял для них на первое время.

Не успели они проехать сорока пяти километров от Миннеаполиса, как вдруг родители услышали на заднем сиденье громкие всхлипывания Фатии. Она рыдала. Все в машине заволновались. Начали спрашивать у нее и друг у друга, что случилось, никто ничего не понимал. Фатия безудержно рыдала в голос, при этом стараясь улыбнуться и, отмахиваясь от мамы с папой, как бы давала им понять, что с ней все нормально. Через несколько минут, наконец, успокоившись и отдышавшись, она смогла проговорить: «Я это видела!» «Что?» — одновременно спросили братья и родители. «Я это видела очень много раз во сне. Эту дорогу, машины, как мы едем. Это так точно и было. Я как будто была здесь уже много раз». Родители облегченно вздохнули, а братья начали подсмеиваться над сестрой: «Что, думаешь, не успела приземлиться, уже американкой стала, да? Все здесь знаешь... Может, расскажешь нам, что там торчит за мостом, вот тот большой дом... Как ты их называешь, небоскребы? Ой-ой-ой, небоскребы, как будто мы небоскребов не видали». Мальчики хихикали, чтобы скрыть свое смущение и даже страх при виде этих огромных зданий, быстро летящих мимо машин, и вообще, этого чужого, странного мира, который вдруг, совершенно неожиданно стал реальным, как свершившаяся мечта, с которой непонятно, что делать дальше.

Разместились в небольшой двухкомнатной квартире на окраине Су Фолза, самого крупного города Южной Дакоты. Начались месяцы ожидания документов

о разрешении на работу. Жили на скромные сбережения родителей, дядя помогал, чем мог. В первое воскресенье после приезда он повез их в церковь. Так положено, в церковь ходили все. Да это было и к лучшему, потому что там можно было встретить других приехавших из разных стран и завести самые разные знакомства.

Фатия разглядывала девочек и женщин. На одних были с головы до ног укутывающие белые одежды, которые Фатия видела и раньше, и для нее это не было необычно: ее удивило, что американки не покрывали в церкви головы, носили брюки, но при этом она заметила во всех — и во взрослых, и в детях — неизменное уважение друг к другу, к службе и к прихожанам других национальностей.

В понедельник нужно было ехать в офис, сдавать отпечатки пальцев. Фатие было щекотно, когда женщина в форме укладывала на прозрачную поверхность один за другим ее пальцы и крутила их с одного бока на другой. Когда процедуру прошли все члены семьи, они, наконец, вышли из этого каменного, мрачного здания и отправились на ланч. Старшие братья были в восторге от новой еды. Макдональдс был в конце параллельной авеню, и они бегали туда каждый день тратить свои оставшиеся накопленные центы на гамбургеры и картофель фри. Это было очень вкусно и не так дорого.

В конце второго месяца их пребывания в Су Фолзе случилось два знаменательных события. Двадцать третьего, в среду, им, наконец, пришло разрешение на работу. А двадцать шестого папе на старенький мобильник, доставшийся ему в подарок от одного прихожанина из церкви, позвонил двоюродный брат матери Кено и сообщил, что самый дорогой и престижный отель в городе набирает сотрудников. Нужны женщины молодого и среднего возраста. Мама Фатии сразу отказалась, сказав, что не сможет общаться с постояльцами отеля из-за слабого английского и обернулась на Фатию. В свои восемнадцать лет Фатия отреагировала как ребенок на услышанную новость. Она начала скакать по старенькому дивану и кричать по-английски: «Yes, yes, yes!» Потом она вытащила из шкафа свой рюкзак, нашла в нем изрядно поношенные флип флопсы, просунула пальцы между резинками и так, широко расставив руки, прошлась по комнате в каком-то диком танце, выкрикивая непонятные междометия и потряхивая при этом головой.

Родители не отговаривали ее, надеясь, что учитель Гидажу вложил в девочку необходимые знания языка, и ей не придется, как им, работать по пятьдесят часов в неделю на мясоперерабатывающем комбинате. Кено сказал по телефону: «В понедельник без пятнадцати семь, чтоб Фатия была готова, я заеду!»

Началась подготовка к первому рабочему дню. За выходные Фатия приняла душ девять раз, мама могла ей заплести на ночь тридцать шесть косичек и

утром выложить их на голове розочками. Знакомая девушка из церкви одолжила разноцветные заколки, которые прочно прикрепили розочки из косичек к голове Фатии, и в результате ее прическа напоминала хорошо ухоженную клумбу, усеянную маргаритками, лютиками и фиалками. Платье! Платье было привезено с собой. Оно досталось ей от бабушки Абебы, длинное в пол, отделанное бисером, обшито лентами, оно казалось Фатие самым красивым платьем, какое только можно было себе представить.

Без двадцати пяти семь Фатия выпорхнула на улицу и остановилась у дороги в ожидании дяди Кено. Минут через пять выбежала мама и сунула ей в сумочку мобильный, сказав на прощанье: «Храни тебя Господь, дочка, ты у меня красавица! Как закончишь, позвони Кено, он заедет за тобой и привезет тебя обратно». В это время из-за поворота появилась старенькая тойота, Фатия быстро обняла мать, запрыгнула в машину и умчалась встречать свой первый рабочий день.

Когда они подъехали к отелю, в вестибюле уже стояли в ожидании несколько девушек и три-четыре женщины постарше. Все они были приехавшими из разных стран, и все заметно волновались. Старшие одеты были проще и скромнее, юные — в легинсах и длинных футболках. На мгновение Фатия почувствовала себя нелепо в этой компании в своем нарядном облачении, но тут же успокоила себя мыслью о том, что всем ведь нравится то, что ярко и красиво, а не то, что скучно и просто. Появился менеджер. Фатия сразу это поняла, потому что к ним подошел широко улыбающийся, аккуратно причесанный мужчина в офисном костюме и стал всем по очереди жать руки, каждый раз здороваясь и спрашивая, как дела? Фатия оглянулась по сторонам, дяди Кено уже не было рядом, она немножко занервничала, но когда мистер Моен, так он представился, подошел к ней и спросил, как дела, она широко улыбнулась ему в ответ и громко сказала: «Fine, thanks!» Ей показалось, что мистер Моен слегка удивился ее блестящему знанию английского, потому что остальные женщины на его вопрос просто кивали головами и несколько раз повторяли: «Good, good». Поприветствовав всех новых сотрудниц, мистер Моен сказал, продолжая все так же белоснежно улыбаться: «Поздравляю вас, дорогие друзья, с началом работы в нашем прекрасном отеле, хочу сразу обрадовать вас хорошими перспективами. Вы все можете сделать карьеру, у нас для всех одинаковые условия для роста. Поначалу ваша работа может показаться вам сложной и немного однообразной, но постепенно вы сможете перейти на более высокооплачиваемые позиции, вы будете помогать на кухне, в столовой, а также убирать номера. Но до этого вам придется некоторое время провести в менее комфортных условиях, надеюсь, что вы к этому готовы. Разрешите мне проводить вас для получения инструментов». Женщины снова кивали головами

и продолжали повторять: «Good, good...» А Фатия, которая поняла только несколько слов из того, что сказал Моен, опять широко улыбнулась. Ей понравилась, что он несколько раз произнес слово «карьера» и про более высокую оплату она тоже поняла.

Вся группа спустилась на лифте вниз, в подвальные помещения. Моен достал связку ключей и открыл перед ними одну из тяжелых железных дверей. Вдоль стены стояли железные ведра, на которых висели длинные резиновые перчатки, а рядом, прислоненные к стене, стояли швабры. Моен продолжал вводить подопечных в курс дела: «Значит, так, — произнес он хозяйски, — делитесь по четыре человека на этаж. На каждом этаже два туалета, с левой и с правой стороны холла, по два человека на туалет, пять часов вам должно вполне хватить на девять этажей. Когда закончите, я скажу, что делать дальше. В двенадцать полчаса на обед. Обед не оплачивается. В три тридцать — пятнадцатиминутный перерыв. Перерыв оплачивается. В пять часов вы будете свободны. Вопросы есть?»

Женщины робко переглянулись, покачали головами, и Фатия снова услышала их нерешительное: «Good, good...» Они стайкой потянулись к открытой двери за своими рабочими инструментами. Фатия вошла последней и остановилась возле ближайшего к выходу ведра со шваброй. Она с ужасом наблюдала, как остальные спокойно натягивают резиновые перчатки, доходящие им почти до плеча, гремят ведрами и выстраиваются в очередь перед краном, как-то несуразно торчащим прямо из середины стены, чтобы набрать воды.

И тут Фатия не выдержала. Она оттолкнула от себя швабру, та с громким ударом упала на каменный пол, а Фатия подхватила платье так, что оно задралось выше колен, и, чуть не сбив с ног Моена, выскочила в коридор. Как птица, залетевшая в чужое окно, она носилась по всему этажу, не разбирая дороги, утыкаясь в стены и запертые двери, в поисках выхода из этого лабиринта. Наконец, она увидела лестницу и взметнулась по ней наверх. Дрожащими пальцами она вытащила из сумочки телефон и задыхающимся голосом прокричала в трубку дяде Кено: «Забери меня отсюда, забери, дядя миленький!..» Дальше она не могла говорить, рыдания захлестнули горло, слезы полились градом, и она только всхлипывала в трубку. Услышав короткие гудки, убрала телефон в сумку, вышла из отеля и присела тут же на ступеньках, обхватив голову руками. Дядя Кено появился через несколько минут на своей выдавшей виды тойоте, резко затормозил прямо возле Фатии, вышел из машины, подошел, взял ее за руку и молча, ни о чем не спрашивая, быстро отвез ее домой.

В квартире никого не было. Отец с утра отправился на поиски работы, мать ушла на рынок, братья, как обычно, проводили время в Макдональдс. Дядя Кено торопился обратно на работу, он на секунду прижал

к себе Фатию и тут же вышел. Фатия упала на диван, по которому совсем недавно скакала от радости и в голос зарыдала. У нее перед глазами мелькали, как слайды из детства, лица волонтеров, фотографии машин и домов, карта Америки, словарь и... флип флопсы. Она вдруг вскочила с дивана, бросилась к шкафу, нашла свой рюкзак, вытащила из него старенькие флип флопсы, надела их на пальцы рук, повертела и засмеялась глухим, каким-то старушечьим смехом. Потом пошла на кухню и, не глядя, выбросила их в мусорное ведро.

Вернувшись в комнату, она прилегла на диван и почти моментально провалилась в сон. Во сне она ус-

лышала голос мамы, зовущий ее на завтрак, и увидела себя маленькой девочкой со спутанными волосами, в старой застиранной ночной рубашонке, босиком протопавшей на кухню, где старшие братья сидели за столом и уплетали ее любимые хлебные лепешки. Мама стояла лицом к плите и, не оглядываясь, сказала ей: «Фатия, садись скорее, а то твои братья ничего тебе не оставят, и ты будешь весь день голодной!» Фатия прошлепала босыми ногами к плите, уткнулась заспанным лицом в мамин, пахнущий хлебом и луком халат, крепко обхватила ее руками и долго стояла молча, в первый раз забыв про свои любимые хлебные лепешки.



Саша Филбар

Саша Филбар родилась в 1991 году в Москве. Окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «театроведение». Жила во Франции и Италии. Сейчас работает редактором литературного интернет-журнала в Москве. Пишет стихи, рассказы, сценарии и пьесы.

Рассказ, который мы вам представляем, входит в цикл «Итальянские сны».

AQUA ALTA (ПРИЛИВ)

Я часто думаю о тебе. Клянусь тебе, честное слово! Особенно, когда приходится пересекать в утренней голубоватой дымке Пьяцца Сан Марко.

В то время, когда я прыгиваю с vaporetto на бледные, едва различимые в тумане плиты причала, на площади еще пусто. Здесь не принято вставать рано — мы, местные, предпочитаем сидеть на большой земле, там, где по утрам за окнами наших домов слышен автомобильный гул, а улицы так широки, что не перебросишь от балкона к балкону бельевую веревку. Да что там! Захочешь перекинуться парой слов с соседом, и то придется плестись вниз по неосвещенной, узёхонькой лесенке и встречаться где-нибудь на середине пути. Так и забыть недолго, о чем хотел сказать. Волей-неволей привыкаешь молчать.

Что до Венеции, нашей красавицы, вдали от времени и места, так ее давно захватили туристы — эти ребята — любители подольше поваляться на выглаженных до парчового блеска, хрустких гостиничных простынях, можешь мне поверить. Я вижу их каждый день, я знаю их как свои пять пальцев, я чувствую, с кем из них можно заговорить, а к кому лучше не соваться без дела. Да, amore, с годами можно научиться распознавать людей по лицам, читать их, как будто каждый из них — книга, газета, блестящий на солнце, притягательный в своей пошлой яркости рекламный проспект. Удивительно, какими разными они могут быть.

Высокомерные испанцы — Ola, господи! Мы же почти родственники! Нет, смотрят на тебя сверху вниз, будто

ты и не человек, а так, насекомое. Что ж, простим им, любовь моя! Добродушные увальни немцы — давнишние мои друзья, нравятся мне их простодушные, некрасивые лица. А как веселятся! Клянусь тебе, никто не умеет делать этого так, как они! Не далее, как в прошлый четверг...да, все так и было, четверг, ближе к полуночи завалились к нам гурьбой человек восемь, не меньше, все здоровые, крутолобые. Надрались в стельку, mamma mia, горланили песни, швырялись бутылками! Хлоп! Первая! И пивная пена уже сползает по стене и оседает отвратительной кучей на полу. Хлоп! Вторая! Бедняжка Марта никак не могла их выгнать. Пришлось звонить в полицию. Только кто же потащится ночью в такую даль? Да... Своя, особая история с французами, чаевых от них не дождешься. Всю душу из тебя вынут, прежде чем рассчитаются: что, мол, это за нолик, а этот? А отчего вы мне хлеб принесли, если я хлеба у вас не просил, может быть, и за него мне нужно заплатить? Черт! Иной раз с досады сам оплатишь счет, лишь бы отвязались, сгинули в уличном шуме. Деньги? А что деньги, не всегда в них счастье, в самом деле. То ли дело русские — те щедрые до нелепости. Русские мне нравятся особенно. Впрочем, не только из-за чаевых. Я люблю их за то, что они искренни, чисты душой, как дети: смеются по-настоящему, плачут тоже по-настоящему. Вот в чем дело, любовь моя, они напоминают мне самого себя, Луку Бреатти — зывавалу из маленького кафе Agli Artisti на одной из безымянных венецианских улиц. Той самой, в которую ты свернула однажды, чтобы встретиться со мной.

Хотя вряд ли ты предполагала, что твоя вечерняя, ставшая привычкой, ритуалом, прогулка закончится именно так. Каждый день ты выходила из крошечной мастерской, снятой тобой у какого-то пьяницы и оборванца художника, неподалеку от моста Риалто — одной стороной она упиралась в канал, и во время прилива в окна твои стучались лодки, — и шла, не разбирая дороги по тесным, волглым улицам в самую гущу домов. Ты трогала их поизносившиеся, обрюзгшие фасады, проводила рукой по влажным пятнам, уродливыми кляксами расплзшимися по штукатурке. Жалела их, как мокрых щенков, которых едва вытащили на берег из бушующего моря, и теперь они жмутся друг к другу, пытаются согреться. Нежность, а ее в тебе скопилось так много, что в твоём теле она больше не помещалась, заполняла мой город, и, когда ты подошла слишком близко, я почувствовал, что сейчас произойдет что-то немислимое, непоправимое.

В тот день исполнилось ровно восемь месяцев с тех пор, как Вероника, моя жена, ушла от меня и увезла Луку-младшего, предварительно сложив в чемодан две дюжины его модных футболочек и хлопковых шорт. Двести сорок пять дней без Луки-младшего. Да, я был не в лучшем расположении духа. Впрочем, никто не догадывался об этом — моя работа не предполагает дурного настроения. Еще бы, так можно и клиентов всех растерять!

— Дамы и господа! Signore e Signori! Lady and Gentlements! Только у нас: креветки в лимонном соусе, паста карбонара по рецепту моей бабушки, заходите, попробуйте! Мадам! Мадам! Почему вы не веселы? Попробуйте нашу пиццу, и вашу печаль как рукой снимет! Господин? Да-да вы, в зеленых штанах, я же вижу, что у вас и крошки во рту не было с утра!

Двести сорок пять дней назад Вероника стояла, склонившись над раскрытым чемоданом, и смотрела в него так, как будто это был не чемодан, а пропасть. Только что туда, в чемоданную бездну, улетело платье, в котором она выходила за меня замуж, и новые трусы Луки-младшего. Грудь Вероники аккуратными полукружьями тоже нависала над пропастью. Мне захотелось ее поцеловать.

— Мне кажется, я перестала тебя любить, — сказала Вероника, не разгибаясь.

— Но разве Лука-младший должен разлюбить меня вместе с тобой? — удивился я.

— Не должен, но он разлюбит. Это свойство детской психики — переставать любить тех, кто далеко.

У Вероники, по всей видимости, тоже была детская психика — за полгода до того, как уйти окончательно, она получила новую должность в столичной юридической конторе, перебралась в Рим, в светлую и сухую, в отличие от той, что мы занимали в Местре, квартиру на Виа дель Корсо, и теперь разлюбила меня, потому что я был

далеко. И очень надеялась, что Лука-младший, наш сын, поступит так же — цены на билеты неприлично выросли за последний год, и возить Луку-младшего в Венецию каждую вторую субботу месяца, с тем чтобы в воскресенье забирать его обратно, выходило накладно. Если бы он разлюбил меня, можно было бы здорово сэкономить.

На следующее утро они уехали. Я стоял на заплыванной обочине, махал им рукой и улыбался, хотя внутри у меня ширилась огромная дыра размером с чемодан или даже больше. Лука-младший тоже махнул мне ладошкой из приоткрытого окна такси, но Вероника тут же одернула его — она хотела поскорее с этим покончить. Она всегда спешила разделаться с неприятными вещами и сердилась, если кто-то не хотел поторапливаться. Такой уж она была, моя жена Вероника.

Я остался один в бывшем нашем, а теперь только моем доме. Я шатался из одной комнаты в другую, подбирая время от времени с пола забытые моим сыном игрушки. Машинка без задних колес, лысая от любви Луки-младшего плюшевая коала — как это он мог ее оставить? Ах, вот еще, глиняный, разукрашенный в синий цвет паровозик. Мой подарок. Я подкинул паровозик, как футбольный мяч, и отшвырнул его от себя ногой. Вот так: пиу! Он ударился о стену и разлетелся на много синих осколков. Вот так: крррак! Если бы здесь был Лука-младший, он обязательно поднял бы рёв. Но его не было. И поднимать рёв было некому. Разве что...

Я открыл рот и сказал букву «А». Вот так: «Аааа», как на приеме у врача, когда в рот тебе запикивают неприятную палочку, чтобы удостовериться, что у тебя не началась ангина или сердце не превратилось в черную чемоданную дыру. Звук мне понравился. Я попробовал еще раз «Ааааа». И еще, только громко «ААААА!». «АА-ААА!!!!». «ААААА!!!». Я кричал изо всех сил букву «А» и вместе с ней из меня выкрикивалась обида на Веронику и тоска по Луке-младшему. Делалось капельку легче.

Иногда важно хорошенько покричать, особенно если ты родился и вырос в Венеции. Мы, потомки древних римлян, бежавших из разоренной империи, которые по загадочной, необъяснимой причине выстроили город не на земной тверди, а на воде, как будто хотели отрицать законы природы, презреть их, заглянуть ей в глаза и бросить надменно: «Видишь, бывает и так!», теперь вынуждены расплачиваться за неумную гордыню далеких предков и со дня на день ждать гибели города, непрестанно, не отвлекаясь на сестру, уходящего под воду. Ожидание близкой смерти делает человека, любого, даже самого сильного духом — сентиментальным и что особенно неприятно — нервным. Непросто осознавать, что в один прекрасный день тебе некуда будет пойти на работу оттого только, что ее смыло приливной волной, и оставаться при этом невозмутимым. И даже если верить специалистам, этим смурным ребятам в очках с толстыми стеклами, которые наведываются к нам по

меньшей мере по два раза в год, что наш город просто-ит еще лет пятьдесят, перспектива не становится более радужной — если вода не поглотит мое рабочее место, значит, вполне вероятно, эта неприятность выпадет на долю Луки-младшего или его сына. Так или иначе, подобное положение дел заставляет венецианцев кричать чаще, чем любого среднестатистического итальянца.

Вскоре в стену мне постучала сеньора Роселли. Оказалось, что у нее непереносимость громких звуков и мои крики расстраивают ее. Да-да, она так и сказала, перегнувшись через перегородку, разделявшую наши балконы: еще раз ты откроешь рот, дрянной мальчишка, и я разобью твою глупую голову о стену, сукин сын!

Мы, итальянцы, умеем объяснять доходчиво, если что-то нам не по душе. Я собрался и поехал на работу — кричать там.

— Не проходите мимо! Только у нас: пицца, паста, домашнее вино и разбитое сердце паренька по имени Лука! Настоящий деликатес!

Я кричал двести сорок пять дней. А потом встретил тебя.

Вот как это было: прежде, чем ты появилась, из-за угла показались твои волосы. *Mamma mia!* Что это были за волосы, у нас в Италии таких не делают — ярко-желтым сияющим облаком они парили возле твоего лица. Мне захотелось зажмуриться. Неуловимая, ускользающая красота. Высокий аристократичный лоб, нежные, точеные черты тициановской Венеры, ярко очерченные (и оттого еще так смело, так нагло бросалась в глаза их полнота, их притягательность, что лицо твое казалось фарфорово-бледным на фоне этого ярко-алого, распустившегося на нем диковинного цветка) губы, матовая округлость плеч под полупрозрачным щелком блузки, и ниже, ниже...

— Посмотри, посмотри, какая девчонка, — шепнул мне официант Алессио, стряхивая крошки с подноса на мостовую. Вот кто знает толк в женщинах — мимо этого парня не проскочит ни одна блондиночка. Клянусь, Алессио мастак по этой части — у проходимца имелся даже специальный голос, которым он пользовался только в самых ответственных случаях: неторопливо, горлово, будто бы сдерживая нахлынувшую внезапно страсть, мой напарник ломался пополам то ли в почти-тельном полупоклоне, то ли в одному ему известном, обладающем особой, магической силой реверансе, и произносил:

— Как тебя зовут, принцесса?

Мог ли кто-нибудь устоять против подобного, отработанным годами приема? Ах, если бы! Сам он, южанин, смуглый, худой как щепка, с тонкими руками, изрезанными чернильно-синими венами и с подкрученными усиками над верхней, короткой пухлой губкой, был давно и как-то безнадежно женат. Синьора обреталась

в неназванном пригороде Неаполя, судя по уверениям любящего супруга, не отличалась ни большим умом, ни внешней привлекательностью, и исправно рожала Алессио дочерей. Он же, он самозабвенно мечтал о сыне! Всякий раз умелый обольститель уезжал на каникулы с твердым намерением развестись и всякий же раз возвращался из дому с извечными кольцом на безымянном пальце и тоской во взгляде: Анна-Мария вновь оказывалась беременной. Алессио в отместку пугался чуть ли не с каждой туристкой, которая имела неосторожность заявиться на порог *Agli Artisti* в одиночестве. Впрочем, я отвлекся.

Я цыкнул на Алессио. Тот пожал плечами и скрылся в глубине кафе. Там, под барной стойкой у него хранилось небольшое зеркальце, в которое счастливый отец, положив глаз на очередную малышку, подолгу гляделся, поправляя завитки налаченных усов.

Я же стоял как вкопанный, как подросток из глухой провинции, впервые живьем увидевший кинозвезду. Я смотрел на тебя, и боль отступала из моей груди волнами, как уходит вода с площади Сан Марко после прилива, оставляя за собой смятые консервные банки, поломанные зонтики, бывших жен и настоящих детей.

— Красавица! — гаркнул мой сосед, владелец рыбной лавки, Джузеппе, расплываясь в широкой улыбке. Старый прохиндей! Вечно он переманивает моих клиентов своими выкриками. Мой отец говорил: Италия такая маленькая страна, что для того, чтобы нас услышали, приходится постоянно кричать.

Ты даже головы не повернула в его сторону. Взглянула на меня. Ох, и глазищи. Я по-прежнему не мог и слова вымолвить.

— Позвольте пообедать? — спросила ты на ломаном итальянском. Я молча посторонился, пропуская тебя внутрь *Agli Artisti*. Темень лишнего окон помещения окутала тебя, но тут же отступила под натиском сияния, исходившего от твоих волос. «Вот же дыра!», с неожиданной досадой подумал я про место, где мне предстояло провести остаток жизни, «Жалкий хлев!...». Ты же опустила на почерневший от времени и сырости стул. Жестом поманила Алессио. Да вы только посмотрите на этого ублюдка! Кажется, он уже шепчет тебе что-то!

Я пытаюсь догадаться, кто ты. Француженка? Высоковата. Немка? Эти ребята угробили всех красивых женщин еще в средние века. Так кто же? В Венецию не так уж и часто заглядывают одиночки. Разве что состоятельные американки. Но ты не похожа ни на одну из них. С этими сучками, холеными дочурками богатеньких родителей, я знаком очень хорошо. Напыщенные курицы. Одна из них, плотная, с вульгарно нарумяненными щеками синьорина, как-то смачно шлепнула меня пониже талии.

— Парень, если я захочу, я смогу купить тебя целиком, — бросила она мне по-английски, когда я обернулся.

Нет, ты была из другого теста.

Алессио склонился над тобой так низко, что из-за его плеча мне видна была только копна твоих волос. Ждать было нельзя. Этот способен уболтать кого угодно! Я шагнул к вам и толкнул своего напарника в плечо.

— Пошел вон, — сказал я тихо, почти не разжимая губ, так, чтобы слышал только он. Его узкая спина вздрогнула. Прежде я ни разу не вставал у него на пути.

— Что? — переспросил он, выпрямляясь и на всякий случай делая шаг назад — видно в моем лице было что-то такое, что удивило или даже напугало Алессио. Что ж, тем лучше, не придется ничего объяснять.

— Кажется, он просит вас уйти прямо сейчас, — сказала ты, глядя в глаза Алессио и улыбулась.

Отныне ты приходила каждый вечер. Едва кивнув мне, ты усаживалась за самый дальний столик, подзывала к себе Алессио или Марту, заказывала кофе, раскуривала сигарету и застывала недошедшим до искусствоведов, тайным шедевром кого-нибудь из великих итальянцев. За неделю или две мы не перекинулись и парой слов, но где бы я ни был, повсюду за мной следовал твой внимательный, изучающий взгляд. Я не приближался к тебе. От Алессио я узнал, что ты — русская, но у тебя красивое итальянское имя Елена. Елена...стеклянные шарики, главное сокровище моего нищего детства, перекатываются у меня во рту. Елена. Он же рассказал мне, все еще дуясь за то, что так грубо вырвал из его рук бесценный трофей, и что еще хуже — не воспользовался неожиданной удачей, что ты в Венеции совершенно одна и приехала сюда ради того, чтобы «кое о чем хорошенько подумать».

— Почему бы тебе не заняться синьорой? — спросил он меня, окончательно потеряв всякое терпение, через несколько дней.

— Почему бы тебе не совать нос в чужие дела? — огрызнулся я. — Может быть, я хочу на ней жениться!

— А как на это смотрит Вероника? — хохотнул Алессио. Вероника посмотрела бы на это с облегчением. О, она бы мечтала, чтобы я женился еще раз, сделал кучу новеньких детишек и раз и навсегда отстал от нее и Луки-младшего. Да, Лука-младший...

В действительности, все дело было в нем, в моем сыне.

Ежедневно я уходил первым. Едва за окном темнело, а наша улица, как и любая другая, наполнялась особенным вечерним гвалтом желающих пропустить бокальчик и без моих выкриков, я бросал в кладовке на пыльные, похожие на жирных свиней, кули с овощами красный форменный жилет и шел на причал. Ежедневно я открывал дверь в свою квартиру и проходил на кухню, где на столе стоял большой ноутбук, оставшийся мне в наследство от Вероники. Я поднимал его крышку, и экран загорался голубым, а посередине возникала фотография смеющейся Вероники. Рот широко открыт, а ярко-красные от помады губы обнажают ряд ровных, белых зубов. Когда-то, когда ей еще не хотелось покончить со всем поскорее, а Лука-младший

даже не думал рождаться, она смеялась очень часто и так заразительно, что сначала я полюбил ее смех, а потом уже саму Веронику.

Одним и тем же, отработанным за восемь месяцев движением, я наводил стрелку мыши на кнопку вызова, и голубой цвет сменялся лицом моего сына. Лука-младший смотрел на меня и улыбался во весь рот, как когда-то это делала его мама. Он показывал мне новые игрушки. Он говорил мне, что видел, как на Пьяцца ди Пополе какой-то бородатый человек пускал огромные мыльные пузыри, он смеялся так, как будто в его жизни ничего не поменялось. За спиной у Луки-младшего в брюках с давнишними пятнами от кетчупа расхаживала Вероника. Своими звонками я подрывал ее стратегию, согласно которой Лука-младший должен был перестать меня любить. Она злилась и мысленно примеряла платья и туфли, которые могла бы купить, не вози она сына ко мне раз в месяц. Когда расхаживания делались особенно сердитыми, я заканчивал разговор, чтобы завтра позвонить снова. Мне казалось, что, пропусти я хоть день, случится что-то непоправимое, например, Лука-младший тут же разлюбит меня, или что еще хуже — полюбит кого-нибудь другого, кого Вероника приведет в свою светлую квартиру неподалеку от Пьяцца ди Пополе. А может быть, тот другой окажется дурным человеком и будет делать с моим сыном ужасные вещи, и некому его будет защитить. Мне делалось дурно, и я звонил. Звонил. Вся моя жизнь сузилась до голубого экрана, и в нее нельзя было вместить что-нибудь еще.

Да, так все и было до того дня, пока я не увидел тебя и не сказал Алессио: «Пошел вон». Так все и было еще неделю или две, пока твой взгляд, твое безмолвное присутствие не сделались невыносимыми, и мне не захотелось закричать прямо перед экраном компьютера, наплевав на сенсору Роселли.

В тот вечер я пошел за тобой.

До десяти часов, момента, когда мне предстояло позвонить Луке-младшему, было достаточно времени. Вверх на мост, вниз с моста, вверх на мост, вниз с моста. Разрезанная водой на добрую сотню кусочков, Венеция вынуждает то и дело подниматься или спускаться — никогда не получится идти прямо, и потому легкая, светящаяся пена твоих волос то возникала у меня перед глазами, то вдруг исчезала за очередным спуском, и в груди у меня тревожно ухало, как будто бы каждое исчезновение было окончательным, и тогда я ускорял шаг. Я не знал, что скажу тебе, когда ты наконец обернешься, я не знал, как объяснить тебе мое молчаливое преследование, как рассказать о той неведомой силе, которая влекла, тащила меня за тобой, но ты продолжала свой путь, время от времени замедляя шаг, чтобы прикоснуться рукой к влажной стене — погладить. И тогда я тоже трогал обшарпанную известку, и мне казалось, что я ощущаю на

ней тепло твоих пальцев. С Калле дель Олио ты повернула на Кампо Санто Стефано и, уже не останавливаясь, двинулась прямо к Кампелло Сан Видале. Сан Видале, ну, конечно! Как я мог не догадаться! По вечерам в церкви Сан Видале дают концерты, играют Вивальди, — как правило, развлечение для туристов ограничивается «Временами года» или чем-то подобным, что ласкает слух и одновременно не пугает своей чужеродностью. Всякий путешественник, стремясь в незнакомое пространство, нуждается в толике понятного, узнаваемого: это величайший секрет привлекательности чужих городов — среди постороннего, чуждого, обнаружить вдруг свое, записанное на подкорку с детства.

Ты нырнула под церковные своды, а я остался снаружи. Вот и все. Дальше идти было некуда, билеты закончились, и мне только и оставалось, что топтаться на тающей в сумерках площади в ожидании неизвестно чего. Пространство вокруг меня стремительно пустело, разномыслие матери увели своих детей ужинать, влюбленные пары разбрелись по своим номерам — заниматься тем, чем и следует заниматься всем влюбленным, а уж никак не шататься, беспомощно оглядываясь по сторонам в отсыревшем городе. Неожиданно в церковной стене приоткрылась низенькая резная дверца, откуда высунулось сморщенное личико, принадлежавшее, по всей видимости, очень пожилой женщине, следом за ним появилась и вся, скособоченная от времени, старуха. Попереминавшись с ноги на ногу и поведив носом, как будто стараясь определить в вечернем воздухе какие-то, одной ей известные запахи, она засемила прочь, так и не притворив за собой дверь. Мадонна! Какое везенье! Я прошмыгнул в дверь, крепко приложившись головой о низкую притолоку, и оказался внутри, миновав контролеров — те, усевшиеся по бокам от главного входа и похожие на хищных птиц, и не глянули в мою сторону.

Нёф был полностью перестроен, и хотя скамьи, предназначенные для прихожан, сохранились, место, где прежде располагался алтарь, теперь занимал оркестр. Едва я успел прислониться к стене, ощутить лопатками ее прохладу, дирижер, похожий на пастора, в наглухо застегнутой рубашке, вскинул тощие руки (от резкого движения рукава некрасиво задралась, и стали видны большие пигментные пятна, сплошь покрывавшие бледную кожу), и полилась, заструилась, постепенно заполняя пустое пространство от пола до потолка, музыка.

Ты сидела в первом ряду, повернувшись к бывшему алтарю боком, аккуратно уютив, одна поверх другой, узкие ладони на коленях, и слушала. Вытягивала по-птичьему шею навстречу мелодии, и лицо твое, с заостренным, чуть длинноватым носом (птица, птица!), казалось в приглушенном свете призрачным, фантастическим. «Обернись, — думал я, — обернись, и ты все поймешь». Но едва затих в темных сводах последний аккорд, ты поднялась с места и пошла прочь. Я вновь последовал за тобой. Воде стало тесно в проливе, и она

принялась осторожно, будто нерешительный юноша вроде меня, в вечном ожидании возлюбленной, выбираться из каналов в город, по отполированной сотнями (а может быть, тысячами, тысячами тысяч) ног булыжной мостовой побежали тонкие струйки. Ты вздернула полы длинной, светло-серой юбки и ступила в воду. Я испугался, что ты можешь замочить ноги.

— Осторожно, синьора! — сказал я.

Ты обернулась.

— Я не хотел напугать тебя, — поспешно добавил я. Однако на лице твоём не было и тени испуга. Ты медлила, смотрела внимательно, будто решала, стою ли я хотя бы минуты твоего внимания, и наконец вновь двинулась по улице, прочь от меня. Я стоял. Не оборачиваясь, ты крикнула почти весело:

— Ну? Что же ты встал? Разве за этим ты ходишь за мной уже второй час?

Я вошел в твою комнату, сплошь уставленную холстами, подрамниками, перепачканными в красках банками (сколько обнаженных тел она видела с тех пор, как чья-то талантливая или не очень рука поместила сюда кисти, мольберты, позволила поселиться здесь искусству?), и сразу обнял тебя. Мы торопились, как будто нас должны были разлучить, разодрать, как сиамских близнецов — один выживет, другой погибнет. Ты сама сняла с себя свитер, юбку, легла на диван, потянув меня за собой. Я шарил руками по твоему телу, как делает это внезапно и трагически ослепший, прикасаясь к знакомым, ставшим в одно мгновение чужими предметам, в попытке почувствовать, ощутить каждый изгиб молодого, крепкого тела.

— Подожди, — наконец сказала ты.

— Не надо, — попросил я. Мне показалось, что сейчас ты скажешь мне что-то такое, что никак нельзя будет поправить, что-то такое, чего я не хотел знать. Про несчастную любовь или просто — несчастье. В конце концов, у меня не было времени подумать о том, почему ты здесь, в этом городе, совершенно одна и о чем таком ты собиралась поразмыслить в чужой мастерской с отсыревшими стенами и бьющимися в окна лодками. Какие раны и царапины на сердце ты приехала залечивать в мой умирающий город? Нет, мне достаточно было своих. Вынести твою беду вместе со своей я бы не смог.

— Подожди, — снова произнесла ты и тут же добавила, — я хочу на тебя посмотреть.

Я замер над тобой, навис, опираясь на руки. Мы смотрели друг на друга, и я чувствовал, как внутри меня на месте дыры размером с чемодан или даже больше, разливается что-то теплое, вязкое, как джем, которым Вероника каждое утро заправляет кашу Луке-младшему. Потом я наклонился и поцеловал тебя, и ночь наполнилась нашим дыханием, нашим шепотом. Мы говорили, кричали по-русски, по-итальянски...

— Не отпускай меня.

— Не отпускай меня.

— Поцелуй еще.

— Поцелуй меня еще раз.

Я не знал, как это бывает, как это должно случаться — любовь. Я любил Луку-младшего. Любовь к нему напоминала мне большое розовое облако. Как сахарная вата из детства, которую отец покупал мне каждое воскресенье (за исключением пасхального, разумеется). Вата окутывала мне руки и лицо. Любовь-облако к Луке-младшему тоже окутывала мне руки и лицо. Я нырял в него и плыл по бескрайним небесным просторам, а рядом со мной плыл Лука-младший.

Я любил свою работу.

Я любил Венецию за то, что она позволила мне жить здесь и, вероятно, позволит здесь же умереть.

На еще одну любовь в моем сердце оставалось совсем мало места, так что пришлось размещать бы ее где-нибудь между Лукой-младшим и Agli Artisti.

Уже потом, когда все закончилось, я лег рядом с тобой, ты обхватила мою голову, прижала ее к своей груди, так что мне стало совсем нечем дышать. Но я боялся пошевелиться, спугнуть это зыбкое ощущение близости двух людей, которым вот-вот предстоит разлучиться очень надолго, а скорее всего, навсегда. Я представил, как каждое утро ты могла бы подниматься с нашей общей кровати там, в маленькой квартирке в Местре, куда магия Венеции не дотягивается, и все делается таким обыденным, таким каждодневным, безвкусным. Я вообразил, как ты наполняешь тягучей нежностью каждый день моей жизни, в которой нет больше ни Вероники, ни разбитых глиняных паровозиков, ни... Лука-младший! Я забыл ему позвонить! Меня окатило ледяной волной ужаса, как будто кто-то окунул мое тело, нагретое щедрым итальянским солнцем, целиком в грязный, исходящий вонью канал. Я резко высвободился из твоих рук, сел на кровати.

— Что случилось? — спросила ты удивленно.

— Я должен позвонить сыну, я забыл, я не могу! — крикнул я почти в отчаянии. Перед моим мысленным взором одна за другой проносились картинки: вот Лука-младший сидит перед светящимся в темноте экраном компьютера, его маленькая головка на тонкой шее держится прямо, и от этого он делается похожим на испуганного, настороженного зверька, которого за каждым кустом поджидает смертельная опасность. Вот Вероника уводит Луку-младшего в постель и говорит, говорит ему что-нибудь про детскую психику и еще про то, что любить издалека не так-то уж просто, и скорее всего придется с этим покончить поскорее, как и с другими неприятными вещами. Я глянул на часы: до последнего varopetto оставалось десять минут, я мог успеть. Я должен был успеть! Я принялся быстро, путаясь в штанинах, натягивать брюки, молния никак не хотела застегиваться, и я рванул ее, оцарапав пальцы.

— Ах, черт! — воскликнул я. — Черт возьми! Черт! Дьявол!

— Я уезжаю завтра, — твой голос ворвался в мое скомканное сознание. Я замер.

— Когда?

— Утром.

Я молчал. Как испуганные внезапно зажженным светом мотыльки, мысли мои все еще продолжали метаться в черепной коробке, не в силах остановиться. Теперь и это, подумал я. Да, примерно вот так я и подумал, как будто новость о твоём отъезде была чем-то досадным, лишним, но, без всяких сомнений, поправимым, в отличие от истории с Лукой-младшим.

— Ты придешь меня проводить? — спросила ты будничным, бесцветным тоном. Сиамских близнецов наконец разрешили, и теперь кому-то из них предстояло умереть, а второму выжить и умирать иной смертью каждый день до конца своей никчемной, покалеченной жизни.

— Ты не можешь остаться? Ты придешь меня проводить?

Вот и все, на что хватало твоего небольшого словарного запаса. Вот и все, на что хватило моего небольшого сердца, в котором было так мало места. Ты поднялась неторопливо с кровати и тоже принялась одеваться. Ночной пепельный свет то и дело выхватывал из темноты твои руки, бедра, округлый живот. Во мне образовалась какая-то ленивая усталость, время убегало, и я слышал его шаги, но не мог двинуться с места. Ты молчала, и мне казалось, что со мной больше не о чем разговаривать, а может быть, тебе просто не хватало тех слов, что ты знала по-итальянски.

— Он хороший человек, — наконец произнесла ты.

— Что? — не понял я, — Что?

— Он хороший человек, мой муж, — вновь сказала ты, как будто речь шла не о ком-то хорошо знакомом тебе, а о постороннем, случайном, — Но я больше не люблю его.

«Замолчи! — хотелось крикнуть мне. — Замолчи сейчас же! Я не хочу ничего знать!», но я только отвел глаза, чтобы не видеть твоего, спрятанного теперь в одежду тела.

— Когда перестаешь любить кого-то, следует немедленно убираться из его жизни. Потому что это — честно.

— Я приду тебя проводить.

Ты прошла мимо меня, не глядя, будто бы я был пустым местом или даже кое-чем похуже, и распахнула дверь на улицу.

— Я клянусь, — сказал я, переступая порог, — я клянусь. Завтра утром, на Пьяцца Сан Марко.

Я протянул руку и погладил тебя по голове. Так я гладил Луку-младшего, когда он падал и ссаживал коленки, или получал от Вероники за какую-нибудь проказу.

— Конечно, завтра на Пьяцца Сан Марко, — сказала ты и закрыла за мной дверь. У меня на руках остался аромат твоих волос: мед и табак.

Я выскочил в темноту венецианской тесной улочки. В нос ударил привычный запах гнили. Быстрым ша-

гом я двинулся в сторону пристани, затем перешел на бег, воздуха не хватало и мне приходилось часто-часто дышать, как будто бы я преодолевал тяжелый подъем вот так: вдох-выдох-выдох, вдох-выдох-выдох. Наконец передо мной смутные, едва различимые в темноте зонтики очертания причала и сигнальные огни уходящего, самого последнего речного трамвая. Я опоздал.

Некоторое время я медлил еще, бесполезно вглядываясь в даль Гранд-канала, а затем неспеша двинулся вдоль вереницы спящих домов в сторону кафе. Шаги звучали так громко, как будто к каблукам моих ботинок кто-то прибил по монете: тверк-тверк-тверк.

В Agli Artisti пусто, темнота украдкой глянула на меня с витрины. Ты бы сказала, что там могло притаиться чудовище. Не бойся, amoге, настоящие чудовища притаились в нас самих.

Я уже разместился на жесткой скамейке возле двери, ведущей в кухню, когда где-то в глубине зала раздался телефонный звонок. Часы показывали без четверти два.

— Так и знала, что ты здесь, — сказала мне Вероника.

— Конечно, я здесь, — ответил я так, как будто бы ночевать в Agli Artisti было для меня привычным делом.

Я ждал, что она скажет о моем несостоявшемся звонке, и о том, что Лука-младший прождал меня весь вечер возле компьютера и что-нибудь еще злое и обидное, но Вероника спросила:

— Хочешь, я привезу тебе сына?

— Хочу.

— Я бы хотела остаться с вами, — после секундной заминки произнесла моя жена, — мне придется некоторое время пробыть в Венеции. Это должно занять около месяца.

Я молчал. Вероятно, Вероника подумала, что дело в помехах на линии, и несколько раз крикнула «Pronto!».

— Приезжай, — наконец сказал я и повесил трубку.

Ночью пришла вода, поделив город на две части: до Пьяцца Сан Марко и после. Такое случается у нас в Венеции. Aqua alta. Прилив. Подгнившие бревна, частоколом стоящие вдоль причала, почти с головой погружаются в воду, а лодки, те, напротив, взмывают вверх. Едва рассвело, я пришел к площади со своей стороны и глядел как продолжает прибывать вода. Была ли ты по ту сторону? Я не знаю.

Я простоял так час или два, пока улицы наконец не стали наполняться привычным разноязыким гулом. Мне следовало поторапливаться — первые туристы должны были вот-вот оказаться на нашей улице и, наверняка, о, почти наверняка им захочется попробовать Панини аль помодоро или салат Капрезе, а, может быть, и то и другое, и мне, Луке Бреатти, зазывале из маленького кафе Agli Artisititi, предстояло им об этом напомнить. Я развернулся и пошел прочь, оставляя за спиной и площадь, и залив, и что-то еще, имени чему я так и не смог придумать. Впереди у меня был долгий день.

ДАРИТЬ ЧУВСТВО РОДСТВА

Татьяна Дербенева-Якобсен

Имя актрисы Ленкома Татьяны Дербеневой памятно театрам по ее прекрасным работам в спектаклях Марка Захарова «Парень из нашего города», «Тиль», «Трубадур и его друзья», «Хорие» и многим другим. Ее обаяние, открытость, жизнерадостность переливались с подмостков в зал, захватывая зрителей, вызывая ответные чувства. Но сложилось так, что уже давно Татьяна живет и работает в Копенгагене. Но ее неумная энергия должна была найти и нашла выход в любимом деле. В 2000 году Татьяна Дербенева-Якобсен организовала Датско-российский театр «Диалог», а затем и Детскую студию при нем. 10 лет назад «Иные берега» рассказывали об этом коллективе, но за прошедшие годы деятельность «Диалога» существенно расширилась не только многочисленным участием в фестивалях русскоязычных театров разных стран, включая и Россию, но и собственным фестивалем, посвященным Году театра в России и 20-летию коллектива, которое будет отмечаться в декабре нынешнего года.

Предлагаем вашему вниманию монолог Татьяны Дербеневой-Якобсен.

После того, как я написала заявление об уходе из Ленкома, а признаться, Марк Анатольевич Захаров несколько лет после моего отъезда сохранял за мной место, я была в отпуске без сохранения содержания. Царствие небесное этому уникальному режиссеру и человеку! Я никогда этого его доброго шага в моей судьбе не забуду. Вдвоем с мужем мы организовали гастроль «Юноны и Авось» в Копенгагене, в огромном концертном зале Тиволи, а потом я приехала в Москву и написала заявление. Но, работав в таком театре, разве можно оставить профессию?! Я все время что-то играла, даже концерты для датчан — это было смело: по-русски, с кратким описанием сюжета, как в опере. Нашла партнера, профессионального актера. Снисходительные милые датчане принимали нас горячими аплодисментами. Мы играли рассказы Чехова.

Уже после гастролей Ленкома в Копенгагене, меня пригласил Александр Михайлович Хоменко, возглавлявший тогда Российский Центр Науки и Культуры, работать у него референтом по культуре. И началась счастливая жизнь — встречи с моими друзьями, которых я приглашала с творческими вечерами в Копенгаген: Дмитрий Певцов, Татьяна Догилева и Михаил Мишин, Чулпан Хаматова, Игорь Костоловский, Николай Караченцов, Борис Львович, Любовь Матюшина и Максим Кривошеев, многие другие любимые всеми известные актеры. А какой потрясающий вечер был с Григорием Гориним! Они приехали вдвоем с женой Лю-

бой — и это был настоящий праздник. Полные залы РЦНК. А какие программы привозили наши выдающиеся мастера: Олег Валерианович Басилашвили, Александр Александрович Калягин, Сергей Юрьевич Юрский, Михаил Михайлович Козаков. И вся эта радость связана с именем любимой всеми Маргаритой Александровной Эскиной, незабываемой руководительницей Центрального Дома актера имени А.А. Яблочкиной! Мы сотрудничали много лет, а когда не стало Маргариты Александровны, посвятили светлой ее памяти спектакль «Мартышка» по пьесе Андрея Зинчука. Кроме основного своего дела, Дома актера, Маргарита Александровна опекала Дома ветеранов сцены, а моя героиня в спектакле «Мартышка» и была актрисой, когда-то известной, которая жила и этом доме в Петербурге...

В 2000 году мы учредили Датско-российский театр «Диалог» именно под надежной крышей РЦНК на его замечательной камерной сцене. Несколько лет назад журнал «Иные берега» писал об этом нашем начинании. Но тогда речь не шла о том, с чем мы столкнулись: сцену пришлось строить, потому что зал был приспособлен для показа кино. Мы полностью переоборудовали зал. Даже развернули его в противоположную сторону. Спасибо русскому бизнесу, который тогда еще был в Дании и нашему верному другу Андрею де Клерку, который и в строительстве принимал самое активное участие, и в нашей работе — по сей день. Мне кажется, Андрей умеет все на свете — он и



Театр «Zero».
Израиль

Русский театр-студия
«Мизантроп». Будапешт



звукорежиссер, и музыкант. Без его помощи вряд ли могли бы мы обойтись!..

То, о чем я рассказываю, — своеобразная летопись 20-летней жизни нашего театра. Обо всем не поведаешь, но хочется перелистывать какие-то страницы, вспоминать...

В 2017 году замечательный режиссер Юрий Рашкин, кстати, однокурсник Николая Караченцова, снял о Дании фильм для телеканала Россия Культура. Фильм о стране с ее культурой и искусством, в контекст жизни которой оказался вписан и наш театр «Диалог». Фильм был показан 11 мая 2018 года, а через несколько дней Юра Рашкин умер...

В 2018 году, когда мы узнали, что следующий, 2019 год, объявлен в России Годом театра, — первым чувством, охватившим нас, было горячее стремление быть услышанными и в Дании, и в России. Хотелось провести этот год более насыщенно и активно; хотелось, чтобы осуществились наши самые смелые замыслы.

Наш театр был учрежден в 2000 году, близился и наш 20-летний юбилей. Все эти годы работая на сцене Российского Центра Науки и Культуры, мы осознали, что в состоянии наши возможности расширить и провести большой театральный проект «Парад русских театров в Дании», подарив всем любящим театр именно Год Театра в широком понимании, пригласив в Копенгаген и во второй по величине датский город Орхус лучшие русские театры из разных стран.

Конечно, мы рассчитывали и на помощь из Москвы. Наши условия хорошей камерной сцены позволяли приглашать только камерные спектакли, и «парад» подразумевал чередование театров, потому как большой фестиваль с одновременно приехавшими театрами нам было сложно организовать.

Откликнулось огромное количество театров, чего мы, честно говоря, даже не ожидали. Принять всех не было ни-

какой возможности, и мы выбрали 10 театров, которые хорошо знали, встречались на фестивалях прежде, читали о них в театральных журналах и рецензии в СМИ. Написали проект и отправили заявку в Москву. Время шло. Все театры заранее купили авиабилеты, чтобы облегчить задачу финансирования их приезда. Проект, как ответили нам из Москвы, ознакомившись с ним подробно, понравился, и мы стали с нетерпением ждать, когда рассмотрят все наши заявки.

Я, конечно, была не одинока — многие русские театры за рубежом, с которыми я регулярно поддерживала связи, тоже решили провести фестивали по случаю такого важного события — объявленного Года театра. Начался 2019 год, и уже в начале февраля должен был приехать замечательный театр из Израиля «Zero» с прекрасными актерами Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой, они предложили нам спектакль по рассказам А.П. Чехова «Он и Она. Провинциальная гастроль». Какой радостью стало открытие нашего проекта! Спектакль оказался просто чудесным, зрители оценили его по достоинству. А еще нам повезло, что в Дании живет известная театровед Ольга Скорочкина, которая приезжала на наши спектакли из другого города, чтобы мы могли обсудить работы приглашенных на фестиваль театров из разных стран. И еще она



Татьяна Дербенева-Якобсен.
«Моя любовь – Антон Чехов».
Театр «Диалог». Дания

Театр «Наш Дом»
под руководством
А.В. Зориной, г. Одинцово

писала рецензии в датской прессе о своих фестивальных впечатлениях, что было очень важно для нас.

Затем, уже в конце февраля, в Копенгаген приехал Драматический театр им. И.А. Гончарова из Ульяновска со спектаклем «Любовный квадрат» по пьесе Карине Хадинян. С этим коллективом мы давно сотрудничаем, со своими спектаклями бывали не раз на их замечательных фестивалях.

А в начале марта мы принимали театр «Лестница» из Израиля — это моноспектакль Анны Гланц-Маргулис «Яблоки из сада Шлицбутера» по рассказу Дины Рубиной.

Русский Театр-студия из Будапешта, Русский камерный театр из Софии дарили нам радостные весенние встречи. После летней паузы мы встретились со спектаклем «Я — Николай Гумилев» Государственного академического русского театра им. А.С. Грибоедова из Тбилиси. Решение спектакля режиссером Леоном Узуняном, выразительная игра актера Иване Курасбедиани оставили глубокое впечатление.

Финансирования мы, к сожалению, так и не дождалась. Пришлось выходить каким-то образом из сложившейся ситуации, преодолевая бесконечные стрессы. Но, к счастью, приходили на помощь друзья, и сами наши гости понимали всю сложность ситуации. А радость встреч и горячий прием зрителями спектаклей были намного важнее.

Россотрудничество и Союз театральных деятелей РФ (ВТО) помогли нам в 2019 году организовать проект «Мир русского детского театра» с мастер-классами педагогов ГИТИСа для совсем юных артистов детской студии при театре «Диалог» и поставить спектакль для детей «Проделки Бабы-Яги» по мотивам русских народных сказок, оплатив проезд режиссера Николая Парасича из Смоленска. Эта помощь для нас была неоценима.

В августе, в рамках проекта «Парад русских театров в Дании» наш Датско-русский театр «Диалог» выпустил спектакль «Моя любовь — Антон Чехов» по воспоминаниям



Лидии Авилевой в постановке режиссера из Израиля Ильи Боровицкого. Спектакль по рассказам А.П. Чехова «Мелочи жизни» привез театр «Наш дом» из подмосковного Одинцова под руководством Аллы Валентиновны Зориной.

Осенью продолжился наш проект, который с большим успехом завершили два театра из Израиля.

Со стороны не всем легко и просто оценить наш фестиваль, но столько сил, энергии, таланта, стремления расширить понимание для иностранных зрителей подлинно русской культуры, школы русского психологического театра, было вложено в этот проект, что становится теплее на душе. Ведь русские театры за рубежом получили возможность встретиться, познакомиться, завязать прочные дружеские связи. А это — дорогого стоит!..

Датско-русскому театру «Диалог» исполнится в нынешнем году 20 лет. И мы верим, что сможем достойно отметить это событие не только в своем кругу и даже не только в кругу друзей, но с теми зрителями, которые за прошедшие десятилетия прониклись настоящим интересом и любовью к русской культуре, к русскому театру. А любовь и дружба способны творить чудеса, преодолевая не только расстояния, но и время, заставляя людей чувствовать себя роднее... **ИБ**

Голоса... голоса... ГОЛОСА

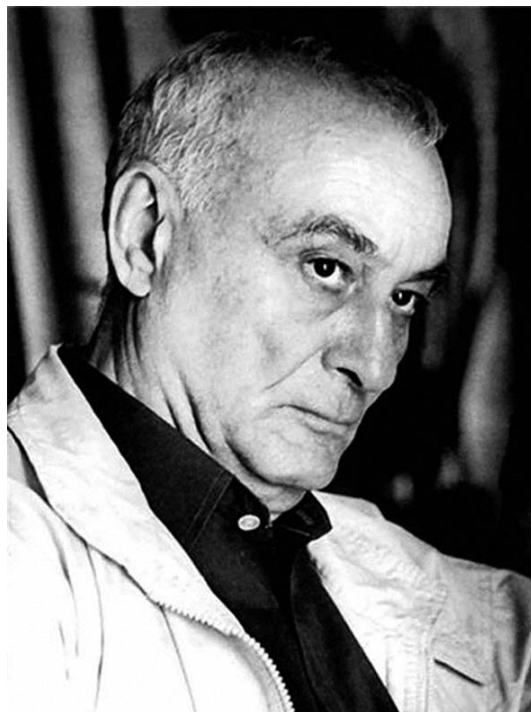
Наталья Старосельская

Накануне юбилея актрисы Евгении Симоновой совершенно неожиданно наткнулась в программе Общественного телевидения России на название «Лица». Не поверила глазам — этот телевизионный спектакль, прошедший по экранам в 1978 году, произвел настолько незабываемое впечатление, что запомнился почти в подробностях на долгие-долгие годы. Неужели он сохранился? Нет, скорее всего, это какое-то совпадение названий, и мне предстоит увидеть нечто сегодняшнее, довольно торопливое и не особенно внятное...

Армен Зурабов

Но оказалось — неожиданный подарок судьбы, вернувшийся, хочется думать, не ко мне одной, спустя четыре с лишним десятилетия, когда все изменилось до неузнаваемости.

Сегодня в этой старой ленте оживают, если позволительно так сказать, дважды «иные берега». Эпоха, когда в одном фильме соединились и глубоко волнующе прожили вполне достоверную, хотя и откровенно романтическую жизненную ситуацию армянский писатель и сценарист, живший в Тбилиси и писавший на русском языке Армен Зурабов; молдавский режиссер и артист, в силу обстоятельств проработавший более десяти лет в Москве, поставивший ряд спектаклей в Центральном театре Советской Армии, среди которых гремела на всю страну «Святая святых» Иона Друцэ, в Малом театре, на телевидении, Ион Унгуриану; ленинградский поэт и художник Евгений Бачурин; ленинградская актриса Лариса Малеванная и юная московская — Евгения Симонова.





«Лица».
Лица — Евгения
Симонова

Это — «иной берег», и его мы сегодня с полным правом называем «подкладкой» застойного времени, той самой эпохи высокой культуры, когда создавались спектакли и фильмы, которые и доньше мы смотрим с неподдельными чувствами сопричастности. Не потому, что были молоды и легкомысленны, счастливы и беспечны в своей надежде на долгую будущую жизнь. Потому что все, о чем говорили эти фильмы и спектакли, взывало к мысли и чувству, взывало к необходимости делать выбор.

И еще один «иной берег» словно прозрачным облаком встал над фильмом. В 2015 году ушел из жизни Евгений Бачурин. Через год не стало Армена Зурабова. А в 2017-м к ним присоединился Ион Унгуряну...

А то, что казалось им главным тогда, ради чего сочиненная Зурабовым, написавшим за долгую жизнь всего несколько сценариев и книгу рассказов, озвученная незабытой с той поры песней Бачурина, мастерски снятая Унгуряну и прожитая двумя актрисами незатейливая история двух сестер, — обернулось своей неизжитой, а во многом ставшей более насущной проблемой: что выбрать, с чем идти вперед — с уютной, необременяющей и внешне вполне устроенной судьбой или с любовью, изменившей все прежнее бытие раз и навсегда?

И вовсе не казалось главным или чем-то необычным, а было совершенно естественным то, что в «Лице» соединились мастера, которым

предстояло меньше, чем через полтора десятилетия оказаться в разных странах рухнувшего единого и неделимого государства, «союза нерушимого республик свободных»...

Сегодня мы уже осознали подлинную цену этой свободы.

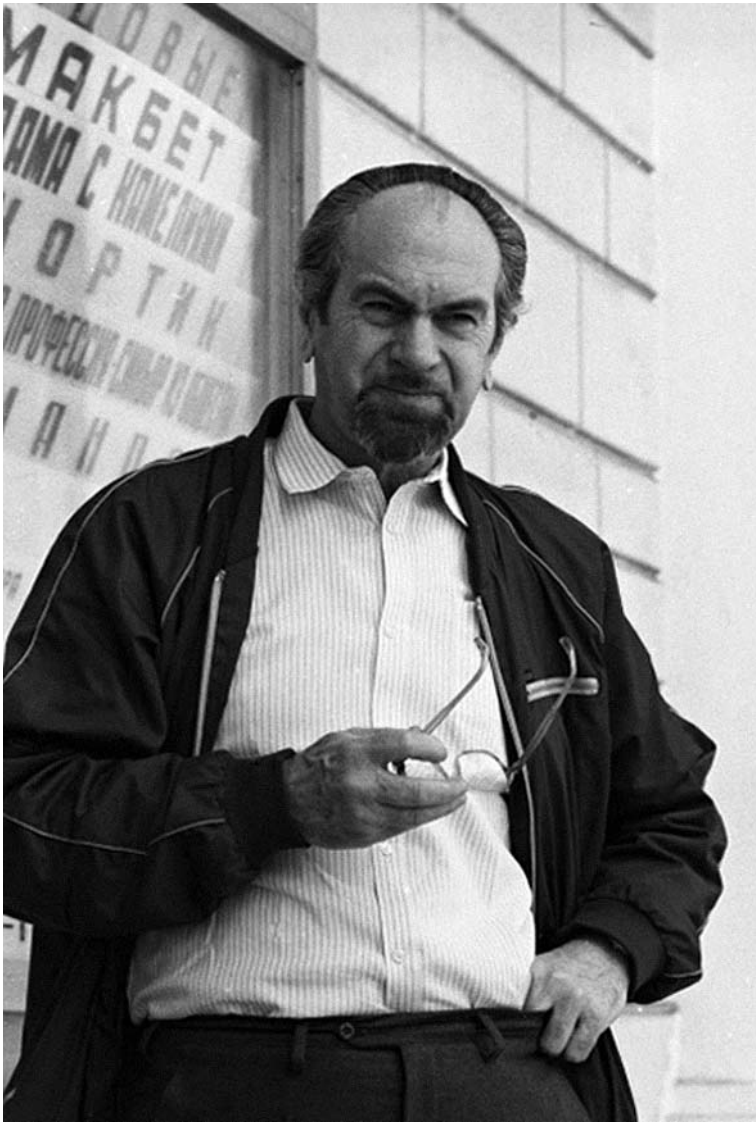
Несколько раз на протяжении короткого телевизионного спектакля звучит песня:

*Дерева вы, мои деревья,
Что вам головы гнуть, горевать?
До беды, до поры
Шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема!*

*Я волнуем и вечно томим
Колыханьем, дыханьем твоим.
Что ни день — то весна
Что ни ночь — то без сна.
Зелено, зелено зеленым.*

*Мне бы броситься в ваши леса.
Убежать от судьбы колеса —
Где внутри ваших крон
Всё малиновый звон —
Голоса, голоса, голоса...*

*Говорят, как под ветром трава,
Не поникнет моя голова.
Я и верить бы рад
В то, о чем говорят,
Да слова, всё слова, всё слова.*



Ион Унгуриану

*За резным за дубовым столом
Помянут нас недобрым вином.
А как станут качать,
Да начнут величать
Топором, топором, топором...*

*Ох вы, рощи мои, дерева,
Не рубили бы вас на дрова —
Не чернели бы пни
Как прошедшие дни.
Дерева вы мои, дерева!*

Казалось бы, что уж такого особенного в этой песне, с ее простой мелодией и такими же простыми словами? Может быть, обаяние бардовского голоса художника, писавшего стихи и картины так, как он видел, чувствовал, воспринимал природу и людей? Но и когда «Дерева» поет Евгения Симонова, в песне срабатывает та же магия, непреодолимая тяга куда-то если не в даль, то в сторону от обыденности серой од-

нообразной, распланированной на десятилетия вперед жизни. И вряд ли случайно именно эта песня оказалась самой популярной среди всех, написанных Евгением Бачуриным.

Действительно, пророчески сбылись слова: «До беды, до поры/ Шумны ваши шатры,/ Терема, терема, терема!» — ведь мы считываем сегодня в них не совсем тот смысл, что вложен был поэтом. Мы ощущаем в них поистине трагическую разобщенность, которая в последние десятилетия не только построила перед людьми государственные границы, но многих увела в тот мир, где нет и не может быть границ.

В том числе — и границ между показным благополучием и той незримой, но ощутимой точкой, в которой сходятся вдохновение, творчество, понимание истинных ценностей, и начинает все громче, все отчетливее звучать «Надежды маленький оркестрик под управлением Любви».

Ион Унгуриану снял «Лику» в павильоне, загроможденном старой мебелью, вытертыми коврами, креслами, в помещении с непонятными переходами то ли из комнаты в другую, то ли на террасу или на кухню — лестницы, переходы, сами эти комнаты словно перешли на экран из старых тбилисских домиков, нависающих еще не слишком давно над берегами Куры. С другой же стороны — наверное, только таким и могло быть обиталище семьи пьющего плотника отца и хлопотуньи о подрастающих дочерях матери. Разница между сестрами — десять лет. Старшая Нина (сыгранная Ларисой Малеванной) помнит все тяготы войны, все непосильные заботы матери. Она мечтала вырваться из этого дома в другую жизнь и ради этого переступила через свою любовь к юноше, не желавшему ни учиться, ни работать, а благополучно живущему в семье с достатком и сочиняющим песни, от которых приходили в восторг студенты. И выбрала в мужа человека, на которого можно во всем положиться.

В жизни Нины есть все необходимое для простого счастья: любящий и понимающий муж, подрастающая дочь, престижная работа. Получив телеграмму матери о том, что младшая сестра неожиданно бросила мужа и ушла с сыном жить в родительский дом, заставляет ее отправиться в город, где она родилась и выросла, чтобы образумить Лику, заставить вернуться к мужу в «золотую клетку».

Лица — актриса, судя по всему, обладающая тончайшей душевной организацией, а значит, путающая видимость с реальностью. Во время съемок фильма она влюбляется в режиссера — нет, не влюбляется, а попадает под магическое воздействие его переживаний, которые считает творчеством, а они помогают ему пре-



Евгений Бачурин

одолеть в себе прошлое, перерабатываясь в вдохновенное создание фильма о любви. Той любви, которой он одержим, словно болезнью, на протяжении вот уже десяти лет...

В самом начале Лика объявляет самой себе и нам, зрителям, что, сыграв так сильно одну из сложнейших сцен будущего фильма, она поняла, что вытеснила навсегда из души режиссера всех женщин, что были до нее. Их не связывает близость, не существует между ними никаких отношений, кроме рабочих, но есть нечто высшее, главное — они соединены магией Любви. Той, что впервые испытывает юная Лика. Той, которую не может преодолеть режиссер, утративший свою любовь.

Спор сестер о том, что важнее всего в жизни, напоминает разговор слепого с глухим — они

не могут ни понять, ни переубедить друг друга в понимании высших ценностей бытия. Но внезапно оказывается, что кинорежиссер — тот самый сочиняющий песни парень, которого десять лет назад бросила Нина, выбрав спокойную и устроенную жизнь. И это ей посвящена песня «Дерева». И это она получала на протяжении всех лет письма от него, которые постоянно носит в сумочке, чтобы муж случайно не натолкнулся на них. И фильм, в котором снимается Лика, — фильм о ее утраченной любви: подробное указание мест, где они бывали вместе; слов, которыми обменивались; чувств, которыми были охвачены...

Не ведая, что Лика — младшая сестра Нины, он, скорее всего, и выбрал именно ее как актрису на главную роль за сходство не только



«Лика». Кадры из телеспектакля.
Лика — Евгения Симонова, Нина — Лариса Малеванная

внешнее, но и внутреннее, которое Нина сумела так глубоко упрятать на самое доньшко души, а в Лике оно проснулось осознанием своего места за земле.

Господи, как же сильно и чисто сыграны актрисами моменты осознания! На долгих паузах, на крупных планах лиц, глаз. Не знаю, кто из сегодняшних наших звезд может настолько глубоко проникнуть в подобное непростое состояние души...

И последние слова разрыдавшейся и никак не обретающей спокойствие Нины, обращенные к младшей сестре, застывшей от осознания того, что она вошла в чужую историю, в чужую жизнь: «Да мы все мизинца твоего не стоим!..» — ничего и никогда уже не изменят. Разве что только Лика пригасит огонь в своей душе...

Пригасит, перестав быть настоящей актрисой, потому что будет обречена навсегда чувствовать, что входит в чужую историю, в чужие эмоции.

Чем дольше живем мы на свете, тем сильнее тянет туда, где проверялись на излом яркие чувства, смелые мысли. Сегодняшнее телевидение способно, в основном, или развлекать, потакая самым низменным вкусам, или навязывать бесконечные политические дискуссии, в которых человек, живущий обычной жизнью, не в состоянии разобраться, или заполнять экраны жалкими мелодрамами, в которых «богатые тоже плачут» в своих немислимых коттеджах и особняках, а скромные и трудолюбивые Золушки непременно находят своих принцев. Есть еще выбор среди детективов, сработанных наспех, или кровавых триллеров.

Некому сочувствовать, кроме зверски убитых, залитых кровью или безжалостно расчлененных. Некому сомневаться, потому что мысли героев нашего времени, как правило, за редким исключением, мелки и ничтожны.

Но какое же это счастье — слышать «голоса... голоса... голоса...» тех, кто владел тайной подлинного искусства. В телевизионных спектаклях Петра Фоменко «Детство», «Отрочество», «Юность». В телевизионных спектаклях Леонида Хейфеца «Обрыв», «Вишневый сад». В самом искусстве телевизионного спектакля, в котором немало было Мастеров.

Разрушилась огромная страна. Разрушилось огромное искусство. Разрушилась культура в широком понимании этого слова.

Спасибо тебе, Жизнь, за то, что нескольким поколениям это все досталось!.. ИБ

Ф.И.ШАЛЯПИН — ДОН КИХОТ

Мая Романова

19 февраля 1910 года в Монте Карло состоялось первое представление оперы Жюль Массне «Дон Кихот» с Ф.И. Шаляпиным в заглавной партии. В этот вечер в прекрасном зале Казино-театра, созданного выдающимся французским архитектором Ш. Гранье в стиле его «Гранд-опера» в Париже, собралась самая изысканная публика во главе с князем Монако и его супругой. В княжеской ложе сидел автор оперы, знаменитый французский композитор Жюль Массне. В это время Федор Иванович Шаляпин был в зените славы.

Шаляпин — Дон Кихот! Все ждали чуда, и оно свершилось: с первого выхода певца на сцену и до конца все взоры были прикованы к нему. Известный немецкий критик Дербурэ писал: «Рыцарь Шаляпина в некоторых штрихах превосходит даже оригинал Дон Кихота. Он никогда не бывает смешон, даже в моменты, когда он отдается самым обманчивым иллюзиям. Его всегда окружает ореол возвышенного идеализма. Он порой кажется заблудившимся в этом грешном мире святым. Внешние конфликты, переживаемые им, незначительны, но внутренний конфликт, в котором Дон Кихот постоянно находится с внешним миром, поднимает его на высоту трагизма и действует потрясающим образом».

Эта премьера широко освещалась в европейской прессе. Многие материалы перепечатывали в российских газетах, ведь Шаляпин был солистом Императорских театров. Корреспондент одной из немецких газет писал: «Итак, и ты, знаменитый рыцарь печального образа, не избежал участи всех знаменитых героев литературы. И ты совершил свой въезд на сцену! Вспоминая судьбу некоторых из его предшественников на этом пути, чувствуешь невольную боль в сердце. Но нашелся большой художник — Шаляпин, создавший на наших глазах образ, несравненный по величине и цельности; образ, выявивший энтузиазм зрителей от начала до конца ...»

После первого представления пресса устроила Шаляпину торжественный ужин (такого не было никогда), приветствовала артиста продолжительными овациями. Князь Монако пригласил на торжественный обед. Массне назвал Шаляпина «идеальным Дон Кихотом». Это был настоящий триумф.

Вслед за Монте Карло премьера «Дон Кихота» 20 апреля 1910 года прошла в Брюсселе. Побывав на ней, известный российский театральный критик А.В. Амфи-театров писал: «Новое творение Шаляпина не только становится по праву в ряду его прежних, но и на особом почетном месте. Среди множества великолепных «отрицательных» характеров, созданных великим артистом

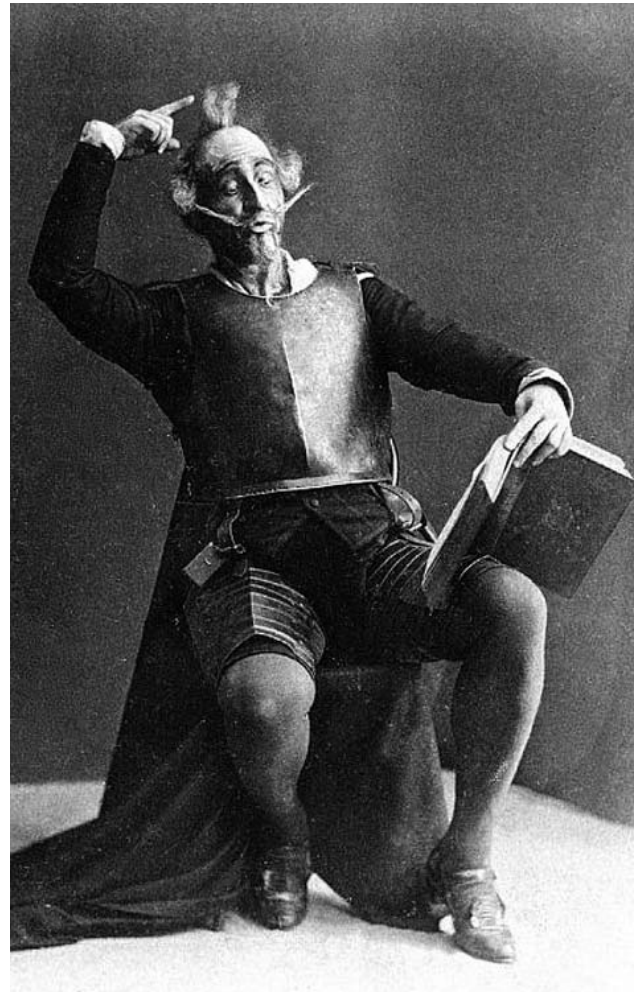


Федор Шаляпин в роли Дон Кихота

(два Мефистофеля, Иван Грозный, Борис Годунов, Сальери и т.д.) Дон Кихот едва ли не первый «положительный». Торжество Шаляпина в роли Дон Кихота обнаружило широту и глубину его таланта, как, может быть, ни одно из прежних его созданий». («Маски Мельпомены», 1910) Большинство критиков писали, что великий трагический артист Федор Шаляпин преодолел и несовершенство музыки Массне и еще более несовершенное либретто Кэна. На сцене был герой Сервантеса — рыцарь печального образа Дон Кихот.

Со дня первой постановки оперы Массне «Дон Кихот» прошло более ста лет. Ей предсказывали забвение после ухода из жизни Ф.И. Шаляпина, который не расставался со своим любимым героем до конца жизни. Но этого не случилось. И по сей день постановки «Дон Кихота» время от времени появляются в разных оперных театрах мира.

В большой статье «К истории постановки оперы Ж. Массне «Дон Кихот» Наталия Ершовская в Петербургском «Журнале любителей искусства» пишет: «По словам композитора Г. Форэ, последний акт оперы (сцена смерти Дон Кихота) принадлежит к числу самых выразительных страниц творчества Массне, и с этим нельзя не согласиться. Отточенное мастерство Массне ставит это произведение если и не в ранг шедевров, но в



первые ряды произведений французской музыки начала XX века».

И все-таки, не будь Шаляпина, наверняка, оперы «Дон Кихот» вообще не было бы. Именно для Шаляпина заказал Ж. Массне оперу директор и, как бы теперь сказали, художественный руководитель Оперы Монте Карло Рауль Гинсбург. В русских изданиях его фамилия пишется по-разному: Гинцбург, Гюнсбург. Мы выбрали Гинсбург, как у Шаляпина в «Страницах моей жизни», где этому человеку посвящено несколько страниц как выдающемуся антрепренеру, у которого «все артисты, хористы, музыканты работают на совесть, с любовью к делу, все аккуратны, серьезны, и работа идет споро, весело, легко... Я никогда не видел такого антрепренера, как этот Гинсбург. Даже, когда артист был не в голосе, не в настроении, что нередко случалось и со мной, — Гинсбург сиял восторгом! И если он видел, что артист опечален неудачей, он тотчас же говорил: «Как никогда в мире, поешь сегодня! Как никто никогда не поет!»... Этот прирожденный театральный человек, по-своему талантливый, он отлично знал условия сцены, знал все, что будет интересно на ней, тонко чувствовал ее эффекты и дефекты. Мне нередко приходилось ругаться с ним, случалось, что мы не разговаривали недели по

две крыду, но никогда я не терял симпатии к нему и не чувствовал с его стороны утраты уважения ко мне. Да и я, в сущности, всегда уважал его, ибо видел, что этот человек любит дело».

Рауль Гинсбург — человек-загадка. Он родился в Бухаресте, отец его был французским офицером, мать — румынской еврейкой. В 14 лет он оказался на Русско-турецкой войне, способствовал взятию Никополя, получил награду из рук Александра III, сохранил связь с царской семьей, оказавшись в Петербурге, где начинал свою антрепренерскую карьеру, выполнял какие-то тайные царские поручения, руководил театром-варьете «Аркадия», потом организовал успешный зимний сезон в Ницце с участием великой Аделины Патти. И, наконец, по рекомендации русского царя Александра III был приглашен герцогом Монако Альбертом Первым на пост директора Театра в Монте Карло, которым он успешно руководил почти 60 лет — с 1892 по 1949 год. Он превратил свой театр в современный европейский оперный центр, где ставились новые оперы (около 80 премьер), где пели все выдающиеся певцы, и была необыкновенно творческая атмосфера.

Начиная с 1905 года, на весенний сезон Шаляпин приезжал в Монте Карло. В его репертуаре были: «Мефистофель» Бойто, «Фауст» Гуно, где Шаляпин пел Мефистофеля, а Фауста — Леонид Собинов, здесь впервые Федор Иванович спел Короля Филиппа в опере Верди «Дон Карлос» и на итальянском языке Мельника в «Русалке». У Рауля Гинсбурга был один серьезный недостаток — он сам хотел быть композитором, написал две оперы, в которых по дружбе участвовал Шаляпин. В опере «Старый орел» по поэме М. Горького «Хан и его сын» пел партию хана Асваба, а также Ивана Грозного в одноименной опере Гинсбурга. Причем спектакль «Иван Грозный» получился весьма достойный, несмотря на все несовершенство музыки и либретто, держался в репертуаре театра и ездил на гастроли. Шаляпин, фактически, повторил одну из своих коронных ролей — Ивана Грозного в «Псковитянке», обеспечив опере Гинсбурга успех.

Директор Императорских театров В.А. Теляковский был крайне раздосадован, когда, все бросая, Шаляпин уезжал к Гинсбургу да еще и пел в его операх. Весной в Монте Карло собиралась блестящая компания: Энрико Карузо и Леонид Собинов, Аделина Патти и Мария Кузнецова, Жан де Решке и Федор Шаляпин. Злые языки упрекали артистов в погоне за щедрыми гонорарами, действительно, гонорары были большие, но не только это влекло выдающихся певцов к Гинсбургу, а творческая свобода, уважение к их талантам, серьезная профессиональная постановка дела. Они любили этот красивый театр, в котором было всего 500 мест и прекрасная акустика, где не надо было форсировать голос, публика слышала тончайшие нюансы прекрасных голосов. Для Шаляпина было еще очень важно, что зрители видели грим, мимику, каждый жест, каждый поворот головы, глаза его героев, ощущали все, что происходило в их душах. Возникало необыкновенно единство со зрительным залом. Рауль Гинсбург понимал, что его любимый гениальный артист,



3087. Ф. И. ШАЛЯПИНЪ (Оп. «Донъ-Кихотъ») Собс ъ изд. фотогр. и худож. фотот К. Фишеръ, Москва—С.-Петербургъ

Федор Шаляпин в роли Дон Кихота

будучи в расцвете своего таланта, практически спел весь басовый репертуар. Каким-то чудом возникла идея Дон Кихота. Шаляпин был как будто создан для этой роли.

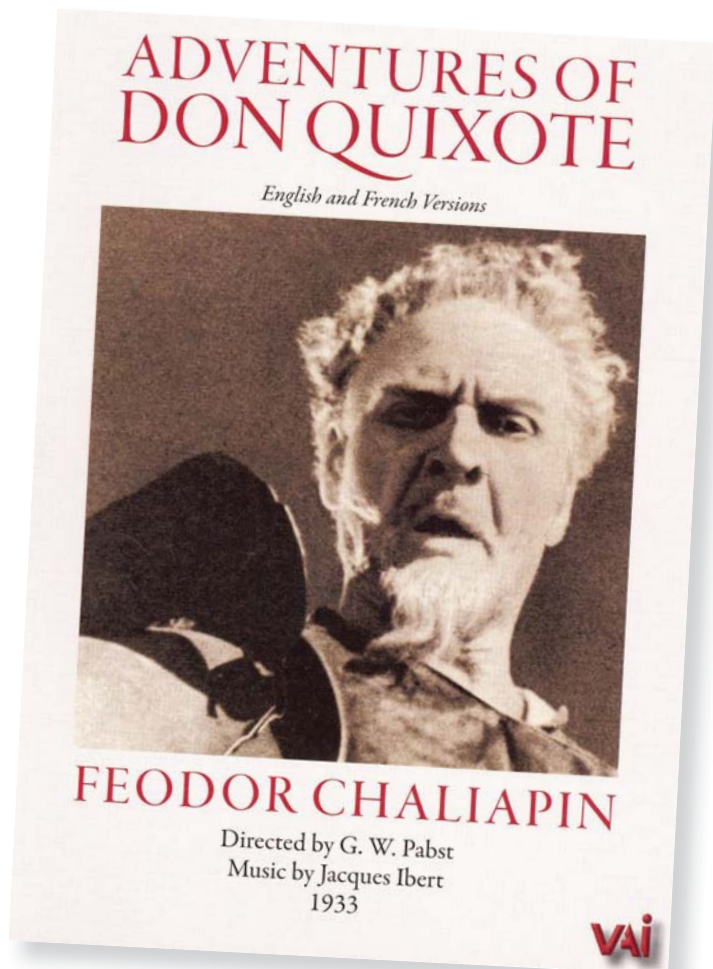
Гинсбург обращается к своему другу, с которым много лет успешно сотрудничал, знаменитому французскому композитору Жюлю Массне с предложением написать для Шаляпина оперу «Дон Кихот». К этому времени Гинсбург поставил три оперы и балет Массне, которые принесли автору большой успех и значительный гонорар. Это предложение не могло не увлечь композитора. Он прекрасно понимал, каким Дон Кихотом может быть Шаляпин! Они были знакомы. Скорей всего, их встреча произошла в 1907 году на приеме в честь участников Русских исторических концертов в Париже, организованных С. Дягилевым. Композитор К. Сен-Санс устро-

ил чествование русских артистов в зале «Плейель», где присутствовала вся художественная элита Франции. В своих концертах Шаляпин гениально исполнял «Элегию» Массне. Они могли встречаться и непосредственно в театре Монте Карло. Несмотря на свой почтенный возраст Ж. Массне был увлечен миловидной певицей парижской оперы Люси Арбель. Это был еще один повод, чтобы взяться за сочинение «Дон Кихота». Она получала новую интересную роль. Партию Дульсинеи он написал для контральто. Вся эта эпопея началась в 1909 году.

К созданию либретто Массне привлек Анри Кэна. В основу сценария лег не роман Сервантеса, а пьеса поэта Жака де Лоррена «Долговязый рыцарь», где образы Дон Кихота и Дульсинеи романтизированы, она не трактирная служанка, а прекрасная аристократка. И все подвиги Дон Кихота — ради возлюбленной... Итак, Дульсинея — богатая, знатная дама. Разбойники украли у нее ожерелье. Рыцарь Дон Кихот, очарованный прекрасной дамой, вместе с Санчо Панса пускается в опасный путь, чтобы найти и вернуть это ожерелье. Происходит схватка Дон Кихота с разбойниками, которые выбивают из его рук копье и связывают его. Дон Кихот обращается с молитвой к Богу, говорит о своих подвигах во имя добра и справедливости. Потрясенные его благородством, разбойники возвращают ожерелье. Дульсинея устраивает роскошный праздник. Дон Кихот вручает ей ожерелье. В порыве благодарности Дульсинея его целует. Счастливым, он просит дать ему руку, «чтобы вместе переплыть через бурное море жизни». И получает насмешливый отказ. Все смеются вокруг. Потрясенного Дон Кихота уводит Санчо Панса. Силы оставляют его. Дон Кихот умирает. (Почему Шаляпин принял это либретто, загадка.) Работа над новой оперой продолжалась год. Ж. Массне назвал свою оперу героической комедией. Не надо говорить, как загорелся этой идеей Ф.И. Шаляпин.

22 июня 1909 года Шаляпин из Парижа, где он участвует в Русских сезонах С. Дягилева, пишет М. Горькому на Капри о двух прекрасных днях в Париже — один у композитора Жюль Массне, а второй у автора либретто «Дон Кихота» Анри Кэна: «Один из них (первый) играл мне музыку новой оперы, а другой читал мне либретто, им сделанное, и оба раза я плакал, как корова. Это был Дон Кихот, рыцарь печального образа. Да, именно печального образа и такой чистый, такой святой, что даже смешной и потешный для всей этой сволочи, этой ржавчины, недостойной быть даже на его латах.

Либретто сделано чудесно, музыка (кажется) отличная, и если бог умудрит меня и на этот раз, то я думаю хорошо сыграть «тебя» и немножко «себя», мой дорогой Максимыч. О, Дон Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему сердцу, как я его люблю. Итак, да будет благословенно все грядущее, — я в феврале, 14-го, кажется (здешнего стиля), в первый раз буду изображать в Монте Карло Дон Кихота. Там уж я надеюсь увидеть тебя. Кто знает, может быть, я больше ничего не сумею потом, и эта роль окажется последней».



Шаляпин необыкновенно был увлечен Дон Кихотом, читал и перечитывал роман Сервантеса, все, что было о нем написано, изучал многочисленные иллюстрации к роману, сам рисовал эскизы грима своего Дон Кихота, просил Александра Бенуа нарисовать, каким он видит Дон Кихота — его облик, грим, костюм, что тот с удовольствием сделал.

В своей книге «Маска и душа» Ф. Шаляпин вспоминал, как рождался его Дон Кихот: «Дон Кихот. Я совсем не знаю, какой он из себя. Правда, внимательно прочитав Сервантеса, закрыв затем глаза и задумавшись, я могу получить общее впечатление... Я, например, могу понять, что этот сосредоточенный в себе мечтатель должен быть медлительным в движениях, не быть суетливым. Я понимаю, что глаза у него не трезвые, не сухие... Ясно, что в его внешности должна быть отражена и фантазия, и беспомощность, и замашки вояки, и слабость ребенка, и гордость кастильского рыцаря, и доброта святого. Нужна яркая смесь комического и трогательного. Исходя из нутра Дон Кихота, я увидел его внешность. Вообразил себе ее и, черта за чертой, упорно лепил его фигуру, издали эффектную, вблизи смешную и трогательную. Я дал ему остроконечную бородку, на лбу я взвихрил фантастический хохолок, удлинил его фигу-

Фото со съемок
фильма «Дон Кихот»



Кадр из фильма «Дон Кихот»

ру и поставил ее на слабые, тонкие ноги. И дал ему ус, смешной положим, но явно претендующий украсить лицо именно испанского рыцаря. И шлему рыцарскому, и латам противопоставил доброе, наивное, детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога страдающего выходят почему-то особенно трогательными».

Именно таким предстал Дон Кихот Шаляпина на премьере в Монте Карло 19 февраля 1910. А перед этим месяц шли репетиции. В главных ролях выступили: Ф. Шаляпин, А. Гресс и Л. Арбель, дирижер — Л. Жеэн, художник — М. Висконти. Федор Шаляпин пел Дон

Кихота во всех крупнейших театрах мира на французском языке. Готовясь к премьере в Москве в Большом театре, он перевел либретто на русский язык, и в России всегда пел по-русски. Знаменитая московская премьера состоялась 12 ноября 1910 года (дирижер Э. Купер, режиссеры Ф. Шаляпин и В. Шкафер, Дон Кихот — Ф. Шаляпин, Дульсинея — Е. Стефанович, Санчо Панса — В. Лосский). Шаляпин очень волновался перед московской премьерой. Но публика восторженно приняла его Дон Кихота. На следующий день он телеграфировал директору императорских театров В.А. Теляковскому в Петербург о «колоссальном успехе». Сохранилось воспоминание об этой премьере известного русского дирижера Александра Хессина: «... И вот перед зрителем предстал рыцарь добра и чести в строгом, аскетическом образе, с ликом святого, поборника высших идеалов со взглядом мечтателя... Этот гениальный выход был так необычен, так потрясающе прекрасен, что вся публика партера встала, как загнипнотизированная. Шаляпин еще не сказал ни слова, стоял на месте и молчал. Публика замерла в каком-то оцепенении... Минута казалась вечностью... И вдруг театр сотрясся от громовых, восторженных рукоплесканий. Весь зрительный зал, наполненный декольтированными дамами, усыпанными бриллиантами, и выложенные кавалеры, все до одного, забыв светскую условность, неистово кричали, махали руками, аплодировали, долго не давая дирижеру возможности продолжить спектакль».

Через два дня после премьеры, 14 ноября в «Русских ведомостях» своими размышлениями делится иронич-

ный Ю. Энгель. Тут уже не до эмоций: «... Массне как будто знает, что надо сделать с Дон Кихотом и Санчо Пансой, чтобы вдохнуть дух живой в эти поверхностно набросанные исковерканные фигуры либреттиста, но не может. И когда пробует, то скользит и большей частью падает. Но падает как настоящий Массне — ловко и элегантно, так, что не всегда и заметишь.

Особенно, если толкователем является такой певец, как Шаляпин. Чего стоит один грим и весь внешний вид артиста. И потом — эта необычная ясность и выразительность декламации, столь усилившая действие музыки Массне. Особенно поражает гибкость и разнообразие тембров, в которых г. Шаляпин, соответственно художественным требованиям момента, умеет окрашивать свой голос. Вот бы чему поучиться у него молодым (да и не молодым) певцам. И все-таки, как ни оригинален образ, созданный г. Шаляпиным, он только удивляет, а не трогает. Вина тут здесь, думается, прежде всего сама опера, с которой даже в руке мастера трудно стереть следы фальши, румян. Иногда, впрочем, и сам г. Шаляпин не стирает их, а еще накладывает. Например, в сцене с бандитами или в сцене смерти, где для чего-то озаряет себя специальным «по особому заказу» сиянием... Сценическая постановка под руководством гг. Шаляпина и Шкафера и оркестровое исполнение под руководством г. Купера вызывают живые симпатии. Какое «сияние» не устроило г. Энгеля?! Эти две сцены — молитва Дон Кихота в сцене с разбойниками и сцена смерти — лучшие в опере в исполнении Шаляпина, о чем подробно, разбирая каждую сцену, писал первый биограф Ф. Шаляпина Эдуард Александрович Старк. В первых строках главы о «Дон Кихоте» Ж. Массне он пишет, что «самое появление на свет этого произведения весьма поучительно. Композитор написал его специально для Шаляпина. Какой нам урок! Судьба послала нам величайшего оперного артиста, и до сих пор ни один русский композитор не удосужился написать оперу, рассчитанную на него». Увы, этого так и не случилось, хотя современниками Шаляпина были Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов, Прокофьев...

Отдавая должное Ж. Массне за то, что сочинил оперу для Ф. Шаляпина, Э.А. Старк, начиная рассказ о самой опере, употребляет слово «досадно»: «Досадно, что, имея в виду Шаляпина, так небрежно обошлись с «Дон Кихотом», имея в виду роман Сервантеса. Это касается и либретто и музыки, но Шаляпин, захватывая роль гораздо шире, проникаясь сущностью изображаемого героя неизмеримо глубже, чем на это рассчитывают либретто и музыка, Шаляпин раздвигает такие идейные горизонты, которые и не снились ни либреттисту, ни композитору, и чудесно создает необыкновенно яркий и гармоничный, безмерно трогательный образ, рельефный и жизненный, и в то же время общечеловеческий... «Святой герой» — зовет его Санчо. Да, святой, ибо чист и незлобив сердцем, как ребенок, этот стареющий рыцарь печали. Когда его кристальный образ появился перед нами впервые, вызванный к жизни волшебством



Федор Шаляпин и Максим Горький

Шаляпина, мы пережили мгновения настоящего счастья, и память о нем осталась неизгладимой, потому, что увидев его раз, увидев воплощенной чудесную мечту о Дон Кихоте, невозможно было не полюбить это прекрасное воплощение, а полюбив, будешь до конца жизни хранить его в своем сердце».

Э.А. Старк в биографии Ф.И. Шаляпина подробно описал все главные роли певца так, что создается впечатление, будто ты видишь своими глазами спектакль со всеми мизансценами, малейшими деталями, слышишь шаляпинский голос ... То же самое и с «Дон Кихотом». Самая сильная сцена в опере — финал, смерть Дон Кихота: «... Смерть настигает Дон Кихота в лесу. Но он — рыцарь, должен встретить смерть на ногах. И вот Дон Кихот стоит, прислонившись к большому дереву, и руки его, простертые в стороны, опираются на два толстых обрубка ветвей; так он не упадет. Голова откинута вправо; он спит. На лицо его набежали серые тени. Вот он приходит в себя после тяжелой дремоты, тихо, не меняя положения, зовет Санчо: «Посмотри, я очень болен». Санчо с тревогой подходит: «Дай мне руку и поддержи меня... в последний раз ты поддержи того, кто думал о людских страданиях». Уже полная отрешенность от всего земного слышится в голосе. Звук его вуалирован и на таком пиано слышится во всем театре, что нельзя не изумляться



Жюль Массне

этому бесподобному совершенству вокального искусства... Потом вдруг почувствовав, как это бывает перед концом, внезапный прилив сил, Дон Кихот энергичным движением схватывает копье, которое было прислонено к дереву, выпрямляется во весь рост и с силой произносит: «Да, как рыцарь твой, я всегда стоял за правду!» И это последняя вспышка. Копье выпадает из рук. Дон Кихот рушится на колени. Смертный туман уже застал ему очи, но в последнее мгновение ему чудятся издали знакомые звуки, былое пронесится в мимолетном видении: «Дульсинея», — как шепот травы на заре, срывается с губ Дон Кихота это имя, этот символ его героической жизни

и, опрокинувшись на зеленый бугорок, Дон Кихот умирает мгновенно».

На наше счастье, Шаляпин записал на пластинки все лучшие свои партии и весь свой концертный репертуар. Из оперы Массне записал единственный фрагмент — сцену смерти Дон Кихота.

25 октября 1917 года Шаляпин в Петрограде в Народном доме на Петроградской стороне пел Короля Филиппа в опере Верди «Дон Карлос». В очередной раз он ушел из Императорских театров. В 1918 году Ф.И. Шаляпина избирают председателем Совета Государственной оперы Мариинского театра. И он разворачивает бурную



А.Н. Бенуа. Эскиз костюма Дон Кихота для Ф. Шаляпина. Графика. 1909



Эскиз грима Дон Кихота с автографом К. Коровину. Рисунок Ф. Шаляпина. 1910

деятельность по сохранению и возрождению театра. За сезон 1918-19 годов он спел 78 спектаклей. Цифра немислимая. Среди премьер 1919 года — «Дон Кихот» Массне. В Петербурге на улице Графтио в музее-квартире Ф.И. Шаляпина есть необыкновенный экспонат — огромная, во всю стену афиша оперы «Дон Кихот» в Мариинском театре. Такие афиши висели по городу. Именно из этой квартиры в 1922 году Ф.И. Шаляпин с семьей уехал на гастроли за границу и на родину не вернулся.

Известно, как много и успешно пел Шаляпин в Европе, Америке, Японии, Китае. Слава его достигла апогея, и все эти годы он не расставался с Дон Кихотом. Последний раз он спел эту свою любимую партию, когда осталось чуть больше года до его кончины, 8 января 1937 года в Париже в «Опера Комик».

В творческой биографии Ф.И. Шаляпина был еще один Дон Кихот — в кино. 6 марта 1932 года Ф.И. Шаляпин пишет своей старшей дочери Ирине в Москву: «... Подписал контракт играть в фильме пьесу «Дон Кихот» (конечно, ничего не имеющей общего с оперой Массне). Пьеса вышла, по-моему, прекрасной, написал сценарий Поль Моран. А я хочу сделать фигуру эпической, так сказать, монументом вековым — не знаю, дадут ли боги разума и силы, но пока горю».

Интерес Шаляпина к кино возник еще в 10-е годы именно в связи с Дон Кихотом. Они это обсуждали тогда с Горьким. А с появлением звукового кино, Шаляпин снова вернулся к идее экранизации «Дон Кихота». В 1929 году, когда в Париже появился Сергей Михайлович Эйзенштейн, Шаляпин пытался уговорить его снять фильм, но у Эйзенштейна были другие планы. И вот в 1932 году эта мечта Шаляпина осуществилась. Оказалось, что, когда появился звук в кино, Чарли Чаплин, которым Шаляпин всегда восхищался, а тот в свою очередь Шаляпиным, подал идею «офильмования» Дон Кихота с Шаляпиным в главной роли.

Об этом и об истории создания фильма «Дон Кихот» с Шаляпиным написала театровед Александра Тучинская в своей работе «Шаляпин и Мейерхольд в кино» в 2008 году. Свою идею Чаплин высказал французскому режиссеру Жану де Лимюру, с которым сошелся в Голливуде, где тот некоторое время работал. В результате, француз станет одним из авторов сценария, директором картины «Дон Кихот», передаст эту идею французской кинофирме «Вандор-фильм». Постановщик — выдающийся немецкий режиссер Георг Вильгельм Пабст, один из самых крупных режиссеров европейского кино. Он вынужден был порвать с родиной, где воца-



Сцена из спектакля «Дон Кихот». Дульсинея — Л. Арбель, Дон Кихот — Ф. Шаляпин. Театр-казино Монте-Карло. 1910

рился фашизм. Не случайно в «Дон Кихоте» возникнет антифашистская тема.

Фильм «Дон Кихот» ни к опере Массне, ни вообще к опере не имел никакого отношения, но оперная природа артиста Шаляпина время от времени в отдельных сценах проявлялась, как он с этим ни боролся. Создавался новый киносюжет по сценарию Поля Морана, куда вошли сцены из романа Сервантеса, естественно, сокращенные, но по трактовке близкие к первоисточнику, с музыкой Жака Ибера, написанной к фильму. Главные герои — Дон Кихот и Санчо Панса, а Дульсинея занимает незначительное место. Художником фильма можно считать великого Доре, его знаменитые гравюры к роману Сервантеса как будто ожили на экране. Так увидел свой фильм Пабст. Это был своеобразный киноэксперимент. Снимали сразу три версии — французскую, немецкую и английскую (немецкая не сохранилась). Тогда еще не было дубляжа. Фактически, снимали три фильма с разными исполнителями Дульсинеи и Санчо Пансы. И только Шаляпин был один в этих версиях с разными партнерами. Так же, как в

театре, Шаляпин вникал во все подробности съемок, огромное значение придавал гриму, пластике.

В фильме была введена театральная сцена. Странствующие актеры на подмостках шумно разыгрывали пьесу, где страдал какой-то несчастный. Дон Кихот, приняв все за чистую монету, бросается восстанавливать справедливость. Чтобы отделаться от старика, комедианты посвящают его в рыцари, венчая его голову бутафорским шлемом с балаганными перьями. Счастливым Дон Кихот отправляется в свой рыцарский поход. Его серьезность кажется безумной среди этого балаганного шутовства. Бытовая среда была разработана в фильме подробно. «Киношная» Испания снималась на юге Франции — реальные животные, реальная утварь и т.д.

«Шаляпин и режиссер Пабст намеренно сталкивают мощного возвышенного героя, живущего мечтой о деятельной любви к миру, с мелочной и заурядной реальностью, которую любить нельзя. Этой реальности он не видит, поэтому в ней он лишь нелепый безумец», — пишет А. Тучинская, которая считает, что у истоков образа Дон Кихота в этом фильме — пушкинский «рыцарь бедный» и что только у Шаляпина бедность играет как неизбежное богатство, как дар духа, запечатленный в книгах. Шаляпин пел в фильме, но это была совсем не опера. Для «выходной» арии он взял романс А. Даргомыжского «Оделась туманами Сьера-Невада». Дело-то происходит в Испании. Ж. Ибер написал для фильма несколько прекрасных вокальных номеров, которые записал Шаляпин, но не все они относились к Дон Кихоту. И только в сцене смерти Дон Кихота звучала настоящая ария, которую даже в записи невозможно слушать без слез.

В финале фильма в сцене смерти Дон Кихот обреченно вглядывается в огонь, сжигающий его книги — его лучшие мечты. Метафора режиссера понятна — уже горят в Германии костры из книг, неудобных нацистам. Дон Кихот-Шаляпин в финале не падает, он принимает смерть стоя, как должно рыцарю. «Сожженные рыцарские романы вновь встают из пепла, вновь открывается великая книга Сервантеса о благородном подвиге безумных мечтаний. А нетленный голос рыцаря-артиста, взывающего к Богу и к Санчо, звучит за кадром — из Небытия. Таков финал фильма», — отмечает А. Тучинская.

Фильм «Дон Кихот» вышел на экраны в 1933 году. Имел большой успех в Европе и получил разгромную рецензию А.В. Луначарского в Москве, хотя в СССР фильм не показывали.

Федор Иванович Шаляпин умер в Париже 12 апреля 1938 года. Он был похоронен на кладбище «Батиньоль». Прошло много лет. Прах его перенесен на родину, и ныне он покоится на Новодевичьем кладбище в Москве.

Когда мы сегодня вспоминаем о великих ролях гениального русского оперного артиста Шаляпина, рядом с Борисом Годуновым, Иваном Грозным, Мефистофелем называем Дон Кихота, который тоже вошел в историю мирового оперного театра. **ИБ**

ГОЛОС ИМПЕРАТРИЦЫ ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Юлия Кудрина

«...перед тобой миллион душ, облаченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества...»

Иван Бунин. Миссия русской эмиграции.

Речь, произнесенная в Париже

16 февраля 1924 года

7 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна после получения известия о приближении к Крыму войск Красной Армии покинула Россию на английском военном корабле «Мальборо». «...Я испытываю тяжелые, к тому же еще и горькие чувства из-за того, что мне таким вот образом приходится уезжать отсюда по вине злых людей!... Я прожила здесь 51 год и любила и страну, и народ. Жаль! Но раз уж Господь допустил такое, мне остается только склониться перед Его волей и постараться со всей кротостью примириться с этим», — записала императрица в дневнике. Долгое время Мария Федоровна надеялась, что наконец придет помощь со стороны союзнических войск.

В письме сестре Александре в Англию от 19 февраля 1919 г. императрица писала: «Боюсь, у нас вовсе не понимают, какой опасности подвергаются все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действительной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада [большевиков]. Ведь это ужасная зараза, как чума, распространяющая[ся] повсюду».



Мария Федоровна. 1920-е

Марию Федоровну волновал вопрос созыва после войны Версальской конференции и ее предстоящее решение. Из того же письма императрицы: «... С большим нетерпением ожидаю я результатов мирной конференции — боюсь, ничего из этого не выйдет, ведь у каждой стороны свое, иное мнение, и как при Вавилонском



Великий князь Александр Александрович и великая княгиня Мария Федоровна



Цесаревич Александр и цесаревна Мария Федоровна с их тремя старшими детьми. 1878

столпотворении, они будут судить да рядить, каждая преследуя только собственную выгоду — а вдруг и по-решат оставить Россию такой, как сейчас, то есть расколотовой на части, или же республикой!! Это было бы неопишимо печально и возмутительно! Нет, не могу в такое поверить, это уже слишком, просто ужасно! В особенности я опасаясь Вильсона — президента, который ничего не знает о положении дел в стране и на-верняка сочтет, что республика — вариант для нас, а ведь ее, эту республику, желают только большевики да отретье, стоящее во главе нынешнего правительства. Величайшая ошибка состоит именно в том, что с ними вообще захотели вести переговоры и особенно после того, как они показали, кто они такие, пойдя на заклю-чение сепаратного мира с Германией».

Тяжело встретившая весть о гибели царской семьи, вдовствующая императрица долгое время продолжала верить, что ее сын Николай Александрович и его семья «чудодейственным способом» спасены. Она запретила

близким ей людям служить панихиду по нем. Когда в октябре 1918 года Мария Федоровна получила письмо от своего племянника, датского короля Кристиана X, в котором он выражал соболезнования по поводу гибели Николая II, в ответном послании императрица написа-ла: «Ужасающие слухи о моем бедном любимом Ники, кажется, слава Богу, не являются правдой. После не-скольких недель жуткого ожидания я поверила в то, что он и его семья освобождены и находятся в безопасности. Можешь представить, каким чувством благодарности к нашему Спасителю наполнилось мое сердце!.. Теперь, когда со всех сторон мне говорят об этом, я должна на-деяться, что это действительно правда. Дай-то Бог».

8 мая 1919 года через Константинополь и Мальту в сопровождении близких родственников и верных дру-зей императрица Мария Федоровна на английском суд-не «Лорд Нельсон» прибыла в Англию.

Пребывание в Англии длилось все лето. Для Марии Федоровны это были трудные дни. Как и прежде, не

было никаких достоверных сведений о судьбе сыновей, и хотя ее английские родственники: сестра Александра, ее дети и внуки, король Георг (Джорджи) и его супруга Мэй выказывали ей свое расположение, она в Англии часто чувствовала себя униженной и даже оскорбленной. Так, 5 июня 1919 года она сделала следующую запись в своем дневнике: «Поднялась рано, побывала у Аликс, затем пришли Долгор[укий] и Вязем[ский] и показали мне дурацкую статью в газете, где сообщалось, что некий полковник Веджвуд в Палате общин задал вопрос, что означает тот факт, что я у себя принимаю русских офицеров. Этот субъект переходит все границы приличия — разве ему или кому-либо другому может быть дело до того, с кем я встречаюсь или чем я занимаюсь. Какая наглость! Один из присутствовавших парламентариев отпарировал ему. Многие зааплодировали, чем его очень отрезвили».

По-видимому, в то время Марии Федоровне еще не было известно, что предложение о предоставлении убежища в Англии Николаю II и его семье стало достоянием гласности уже к началу 1917 года, однако английская пресса и левая часть Палаты общин отнеслись к нему отрицательно. 10 апреля 1917 года Георг V через своего личного секретаря лорда Стэнфорхэма дал следующие указания премьер-министру: сославшись на негативное отношение общественности, информировать Временное правительство России, что правительство Англии вынуждено взять свое предложение обратно.

* * *

*«О вкладе России в войну никто не говорил...
Для них России больше вообще не существует...»*

Из дневниковых записей императрицы
Марии Федоровны.
Май–август 1919 г. Лондон

Тяжелым оказалось для императрицы присутствие на так называемом Параде мира 19 июля 1919 года. «Парадное шествие начали американцы с генералам Першингом — все союзные войска, исключая наших! О вкладе России в войну никто не говорил». 15 июля 1919 г. императрица Мария Федоровна сделала в своем дневнике следующую запись: «У меня сердце разрывается от восторженных криков толпы за моими окнами. Как тяжело оказаться в стороне от всего этого и не принимать участия в торжествах».

1 августа в греческой церкви состоялась панихида по всем павшим на войне. «В большом здании было полным-полно народу, из англичан присутствовал лишь один Бьюкенен (английский посол в России — Ю.К.). Хор, состоящий только из офицеров, пел бесподобно... Служба была красивая и торжественная. Но с какой огромной горечью и печалью я думала о страшном числе



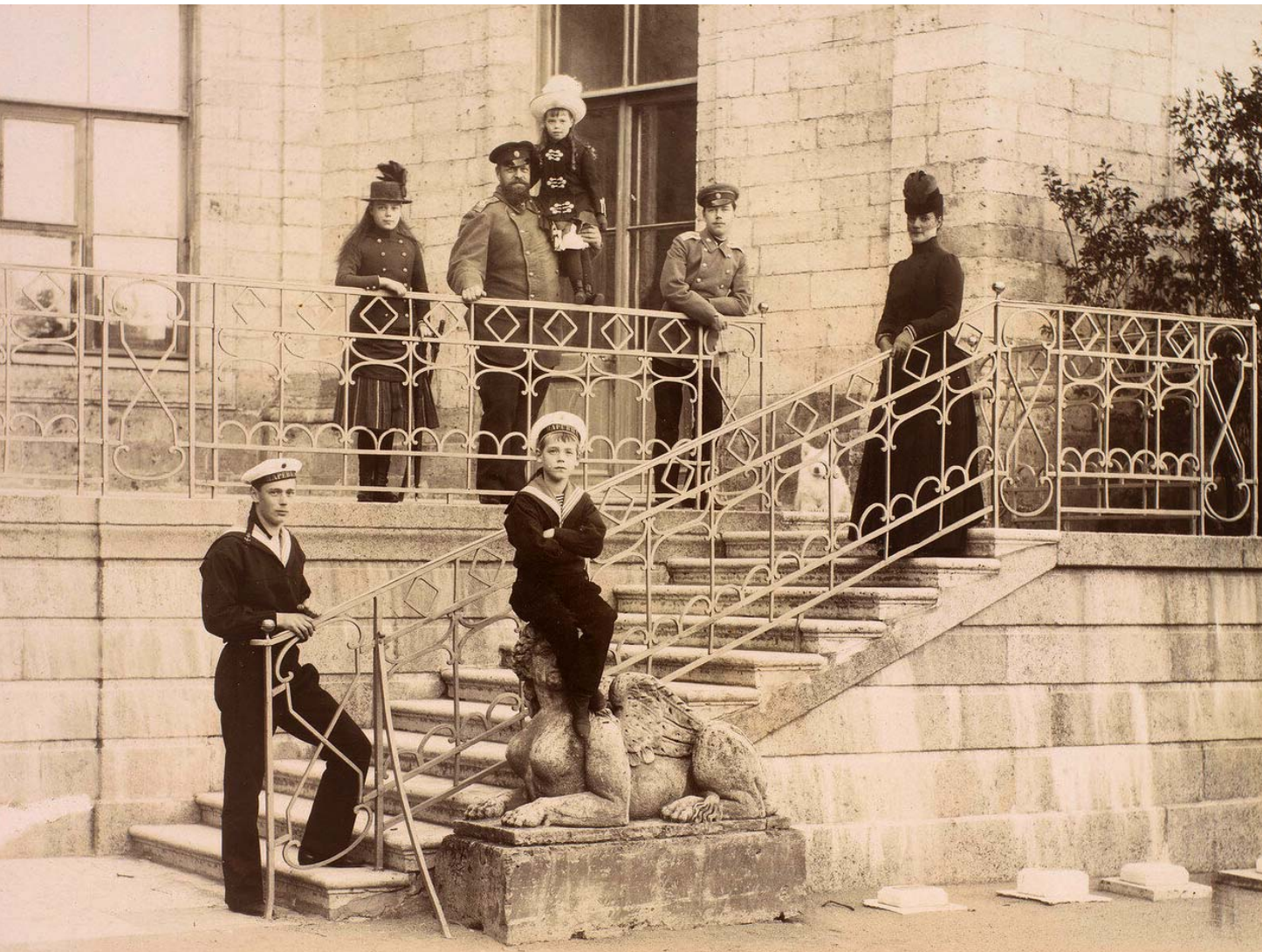
*Цесаревна и великая княгиня Мария Федоровна с детьми.
Слева направо: Георгий, Ксения, Николай, 1879 год*

наших безвинных людей, воевавших вместе с союзниками и отдавших в эти четыре года войны свои жизни! Теперь этот факт совершенно игнорируют и не придают этому никакого значения. Для них Россия больше вообще не существует...»

Находясь в Англии в состоянии постоянного нездоровья, частых приступов меланхолии и уныния, она возвращалась к мысли о своих пропавших сыновьях — Николае и Михаиле, о своих любимых внуках. Сведения, поступавшие в тот период, не были столь противоречивы, как раньше. Все реже она слышала, что царская семья спасена и находится в безопасности под опекой какого-либо государства.

Наиболее убедительной кажется ей информация, которую она получает в Лондоне от капитана царской армии П. Булыгина.

П. Булыгин, посланный Марией Федоровной в Сибирь для выяснения вопроса о судьбе царской семьи по приказу адмирала А.В. Колчака, в то время Верховного правителя России, поступает под начало Н.А. Соколова и помогает ему в расследовании. С большим трудом материалы и



Александр III и его семья в Гатчинском дворце. 1888

документы дела были переправлены Соколовым в Европу, где он продолжал расследование.

Вернувшись из Англии в Данию в августе 1919 года без средств, императрица испытывала большие материальные затруднения, но при этом очень страдала, если не могла помочь всем тем русским людям, которые остро нуждались, оказавшись в те годы на чужбине. Несмотря на это, Мария Федоровна продолжала по мере возможностей облегчать жизнь всем, обращавшимся к ней за помощью. Об этом свидетельствует огромное количество писем, сохранившихся в Датском государственном архиве (Копенгаген). Аналогичные документы имеются и в российских архивах.

Политическая обстановка в Дании к моменту возвращения императрицы из Англии была довольно напряженной. Первая мировая война, революции в России и Германии, усиление левых настроений в стране привели к тому, что резко возросли оппозиционные настроения. Осенью 1919 года Копенгаген оказался в

центре большой европейской политики, так как английские власти решили провести здесь переговоры с большевистскими представителями по вопросу обмена военнопленными. Россия находилась тогда в блокаде, и поэтому для советских властей миссия М. Литвинова в Копенгагене имела особое значение. Она должна была способствовать скорейшему признанию Европой советской власти и самое главное — установлению дипломатических и торговых отношений между Советской Россией и Данией.

Мария Федоровна, находясь в Дании, естественно, не могла оставаться равнодушной к общественной и политической жизни страны. Ее возмущала позиция датского правительства, которое вело с ним официальные переговоры. В письме сестре в Англию она писала: «Представь себе, что мерзавец Литвинов-Финкельштейн до сих пор здесь! И раз уж никто не предпринимает никаких мер, чтобы выслать его, я просила полицмейстера зайти ко мне, чтобы задать ему вопрос,



Александр III и Мария Федоровна со своими детьми. 1889

почему ему [Литвинову] позволяют находиться здесь так долго? Он ответил, что, к сожалению, ничего не может поделать, так как премьер-министр, этот скотина Ц[але] запретил полиции следить за его передвижениями и, более того, теперь отдал полицмейстеру приказ снять с Литвинова наблюдение. Никогда ни с чем подобным не сталкивалась, ведь теперь этот подлец может сеять раздоры и несчастья и отравлять атмосферу здесь, в Дании, своей пропагандой, как ему заблагорассудится, еще бы — он протезе самого премьер-министра. Очаровательно! Я сразу же рассказала обо всем Кристиану, который несколько удивился моим словам, поскольку ничего об этом от своих министров не слышал, да, судя по всему, и не понимает, какую угрозу таит в себе пребывание здесь этого опасного человека. Печально сознавать, что люди могут быть слепы до потери разума!..»

Следователь Н. Соколов настойчиво добивался свидания с императрицей. Было очевидно, что он бы

хотел собственноручно вручить Марии Федоровне вещественные доказательства, свидетельствовавшие о том, что вся семья расстреляна большевиками. Мария Федоровна и сама хотела встретиться со следователем, но не решалась. Когда уже было договорено, что встреча состоится, и к Соколову должен приехать великий князь Дмитрий Павлович, чтобы доставить его к Марии Федоровне на датской королевской яхте, неожиданно пришла телеграмма от дочери Марии Федоровны, великой княгини Ольги Александровны, в которой говорилось: «Уговорите Соколова и Булыгина не приезжать». Было очевидно, что подобная встреча слишком тяжела для императрицы. В это время она была уже серьезно больна и не могла бы говорить с человеком, который собирался рассказать ей страшные подробности о смерти сына и его семьи.

Находясь в Дании, императрица принимала множество различных лиц, которые приезжали к ней в Копенгаген. Среди них были как русские люди, так и многие представители общественности разных стран. Все посещавшие императрицу лица с горечью констатировали, что в России совершилась революция против всего, чем держалась не только Россия и русский народ, но и вся Европа, и весь христианский мир. Русские философы И. Ильин, С. Франк, С. Булгаков были едины во мнении, что, когда в России рухнула монархия, — рухнула единственная опора в народном сознании всего государственно-правового и культурного уклада жизни.

* * *

«... Я полагаю, что Государь Император будет указан нашими основными законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским народом! Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение путями только Ему известными...»

Из письма императрицы Марии Федоровны
великому князю Николаю Николаевичу
21 сентября/4 октября 1924 г.

В 1921 году в баварском курортном городке Рейхенгалле состоялся общероссийский монархический съезд, на котором присутствовали 150 человек. На съезде был избран Высший монархический совет в составе бывшего члена Государственной думы Н.Е. Маркова-Второго, А.А. Ширина-Шихматова и А.Н. Масленникова. Представители монархической эмиграции занялись поиском кандидата на пост «временного блюстителя престола до окончательного решения вопроса о его замене законным государем Императором». Согласно документу Высшего монархического совета от 26 июля (8 августа) 1922 года, «Рейхенгалльский съезд, не признав возможным за рубежом разрешить вопрос о престоло-



Мария Федоровна со своим сыном, российским императором Николаем II

наследии, поручил Высшему монархическому совету обратиться к Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне с всеподданнейшей просьбой об указании лица, имеющего стать впредь до воцарения законного государя блюстителем престола и возглавителем монархического движения». Митрополит Антоний (Храповицкий), генерал-адъютант В.М. Безобразов и Н.Е. Марков посетили Марию Федоровну, но она, приняв их поочередно, предпочла уклониться от того, чтобы возглавить монархическое объединение.

Мария Федоровна продолжала по-прежнему ждать известий из России о том, что кто-то из ее сыновей и внуков остался все-таки в живых. Она пыталась получить свежую информацию и от своих соотечественников — датчан, работавших с большевиками в Советской России, в частности, от Кофода, проживавшего в России до революции около 50 лет, принимавшего в должности государственного советника участие в разработке и проведении столыпинских реформ. В одном из писем К. Кофода, сохранившегося в российских архивах, говорилось: «... Она приняла меня довольно холодно, несмотря на то что она сама меня пригласила, и ни одним словом не спрашивала относительно внутреннего положения России, а лишь об убитых в Алапаевске великих князьях и княгинях. Я сообщил ей то немногое, что мне было известно об этом деле по

сибирским сведениям, а она сказала, что это совпадает с тем, что ей уже передали...»

Сведения о Николае, его семье и Михаиле, поступавшие в тот период к Императрице, не были столь противоречивы, как раньше. Великая княгиня Мария Павловна-младшая, неоднократно посещавшая в Лондоне императрицу вместе со своим братом великим князем Дмитрием Павловичем, вспоминала: «О сыновьях и внуках она говорила как о здравствующих, ждала известий от них самих. Она твердо стояла на своем, и ее вера передавалась другим, полагавшим, что она располагает некими обнадеживающими свидетельствами. Рождались и ходили, обрастая все новыми подробностями, самые фантастические слухи. То якобы из Сербии приехал офицер, встречавшийся там с другом, который собственными глазами видел императора. То объявлялся еще кто-то и доказательно убеждал, что царская семья спаслась, ее скрывают в своих недостижимых сибирских скитах некие сектанты, она в безопасности. Потом их всех вдруг обнаруживали в Китае... или Индии. Всегда кто-то знал кого-то, видевшего письма, получавшего записки, говорившего с очевидцами, и тому подобное, пока, наконец, эти басни не стали содержанием обычной светской болтовни и никто уже не принимал их всерьез».

Состоявшееся 19-20 ноября 1922 года в Париже особое совещание Высшего монархического совета в сво-

ем постановлении признало непререкаемым высший авторитет во всем монархическом движении императрицы Марии Федоровны. В постановлении было также отмечено, что «в настоящее время за границей невозможно разрешить вопрос о престолонаследии, ибо нет вполне достоверных сведений о судьбе Государя Императора и его августейшего сына и брата, а действующие основные законы не допускают различные толкования, подлежащие разрешению компетентным государственным учреждением».

Главными претендентами на принятие императорского титула был великий князь Николай Николаевич, а также великий князь Кирилл Владимирович. В 1922 году великий князь Кирилл Владимирович заявил о принятии им императорского титула. 31 августа/13 сентября 1924 г. им был опубликован манифест «К русскому народу и русскому воинству».

С тяжелым сердцем встретила императрица Мария Федоровна заявление великого князя Кирилла Владимировича и опубликованный им манифест. 21 сентября / 4 октября 1924 г. императрица Мария Федоровна в

письме великому князю Николаю Николаевичу выразила свое отрицательное отношение к манифесту. «Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла манифест вел. князя Кирилла Владимировича, объявившего себя Императором Всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а, наоборот, ухудшит положение и без того истерзанной России. Если Господу Богу, по Его неисповедимым путям, надо было призвать к себе моих любимых сыновей и внука, то я полагаю, что Государь Император будет указан нашими основными законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским народом. Молю Бога, чтобы Он не прогневался на нас до конца и скоро послал нам спасение, путями Ему только известными. Уверена, что Вы, как старший член Дома Романовых, одинаково со мной мыслите. Мария».

В письме своему другу княгине А.А. Оболенской в Париж 9 октября 1924 года императрица писала: «Вы должны понять, насколько я была и все еще остаюсь в мучительном состоянии из-за всех печальных событий прошедших недель, после манифеста, изданного Ки-

Видере — резиденция вдовствующей императрицы в годы изгнания





Великий князь Николай Николаевич



Великий князь Кирил Владимирович. 1913

рилом Владимировичем. Это ужасно, и какие новые смятения он посеял в уже измученных душах! Надеюсь, что мой ответ Николаю Николаевичу был правильно понят. Потому что для меня возможен только один ответ: я убеждена, что мои любимые сыновья живы, и потому я не могу никому позволить занять их место! Все эти письма, которые я получаю, написаны не для того, чтобы меня успокоить. Это все равно, как если бы мне вонзали кинжалом в сердце. Я молю Господа прийти нам на помощь и указать нам истинный долг каждого из нас. Кирил Владимирович написал мне, прося моего благословения, но он даже не дождался моего ответа, потому что в тот же день его манифест уже был напечатан во всех газетах.

25 декабря 1924 года в письме княгине А.А. Оболенской Мария Федоровна призналась, настолько «тяжелым и мучительным» было для нее это время, когда ей «нужно было ясно увидеть тот правый путь и стоять за него как велит ее совесть». «Эта забота не оставляла меня, — писала императрица, — ни днем, ни ночью, тем более что мое письмо, ответ Николаю Николаевичу, так и не дошло до него. Поэтому я написала второе, которое в конце концов

благополучно дошло. Все это невероятно и необъяснимо, но во всяком случае, я старалась успокоиться относительно всего этого. Слава Богу, обе мои дорогие дочери и были рядом, и во всем меня поддерживали!»

Оценивая факт опубликования великим князем Кириллом Владимировичем Манифеста и его содержания, дочь Марии Федоровны, великая княгиня Ксения Александровна писала А.А. Оболенской в Париж: «Разве так должен объявляться царь и так встречаем мы его? Нет — тут что-то даже святотатственное в этом выступлении и трудно с этим примириться. Ну как все это роняет принцип и «идею» и вот от этого осознания так горько и больно... Разве мы чувствуем, что это тот царь, которого ждут и который может вести Россию к спасению и славе? Это какой-то кошмар, и есть от чего с ума сойти. Ты, наверное, чувствуешь точно так же?»

Опубликование Манифеста великого князя Кирилла Владимировича привело к определенному расколу в эмигрантском сообществе и среди членов царской семьи. «Мы тоже слышали, что К[ирилла] на Ривьере многие русские бойкотируют, — писала Ксения Александровна 3 февра-



Вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее камер-казак Тимофей Ящик. Копенгаген, 1924 год

ля 1921 года А.А. Оболенской, — и что русская колония раскололась на две партии: кирилловцы и анти-кирилловцы». Многие не признавали право великого князя Кирилла Владимировича на императорский престол, т.к. его поддержка в 1917 г. Временного правительства была изменой монархии, и тем самым он тогда утратил право быть законным претендентом на российский престол. Право за Кириллом Владимировичем на императорский титул признали иерархи Русской православной церкви за рубежом. Были, однако, и откровенные противники признания Кирилла Владимировича российским императором. Среди них был барон П.Н. Врангель, возглавлявший Русский общевоинский союз. Члены Союза своим верховным вождем считали наиболее авторитетного в тот момент из Романовых — великого князя Николая Николаевича младшего. Отказали в доверии Кириллу Владимировичу и такие, например, монархисты как В.В. Шульгин. Послед-

ний назвал действия Кирилла Владимировича «Кобургским самопровозглашением».

В 1925 году императрица Мария Федоровна в последний раз посетила Русскую церковь в Копенгагене, чтобы присутствовать на молебне, состоявшемся в связи с передачей по решению Верховного суда Дании Русской церкви в собственность церковной русской общины в Дании, хотя советская сторона требовала передачи церкви советскому государству.

Императрица Мария Федоровна умерла 30 сентября/13 октября 1928 г. и была похоронена в Роскильском соборе под Копенгагеном.

В 2006 году прах императрицы Марии Федоровны с согласия королевы Дании Маргарете II и президента РФ В.В. Путина был доставлен в Россию и захоронен в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге рядом с могилой императора Александра III. **ИБ**

ВЫШЕДШИЕ (ВЕРНУВШИЕСЯ) ИЗ «ТЕНИ»

Леонид Варебрус

Фото автора

Этих наших соотечественников и земляков, попавших в немецкий плен во время войны, а потом или отправленных немцами на шахты Бельгии или оставшихся в лагерях Фландрии и там сгинувших, родина вычеркнула из своей биографии на десятилетия. Живыми они пытались бороться, мертвыми оказались забыты. В русском посольстве в Брюсселе, куда несколько раз пытались передать этот список оставшиеся после войны в Бельгии шахтеры, ответ был один: предатели нам не нужны!

Икона Иисуса Христа работы княгини Е. Львовой для русской церкви в Льеже

Э то про них, о которых мне однажды рассказали и передали их фамилии, скопированные патриотами в лагерной канцелярии. 28 фамилий на фламандском языке. С двойным переводом: пленные называли себя по-русски, потом был немецкий, список составлен на нидер-

ландском, поэтому возможны ошибки в самой транскрипции. Как и сейчас, при «обратном прочтении» имен... В фамилиях, которые «не узнать», сохранена оригинальная лагерная запись. Профессии, у кого они обозначены, переведены с фламандского на русский...

Скорбный список... Стань он доступным лет бы на 70 пораньше, быть может, нашлись бы родные, а весть, хоть и печальная, но была бы легче, чем безвестность... А умерли, кто в 42-м, кто в 43-м, кто в 44-м в лагере Клейнхейле. Похоронены военнопленные были в деревне Курсел и в районе фламандских городков Хэнк и Хейсденхал. Все даты записаны пунктуально. Список десятилетия хранился у жителя Фландрии Василия Белоюкова, тоже русского военнопленного, работавшего на шахте Беринген. Это благодаря ему мы узнали фамилии погибших в лагерях соотечественников... Когда познакомились: обычный фермер, свое хозяйство, жена, взрослая дочка, которую называли Верой. А вот по-русски Василий говорил уже с акцентом, как и его жена. И почти не вспоминал о прошлом... А познакомил нас житель Брюсселя, также работавший с ним в шахте в годы войны, Виталий Поповский...



Арка Победы
и Королевский
музей Армии с
«русской частью»
в экспозиции.
Брюссель



Ивонн Франсу,
вдова бывшего
красноармейца,
попавшего в плен
и оставшегося
в Бельгии, и дочь
солдата, воевавшего
за Россию в Галиции,
на немецком
фронте в Первую
мировую войну

Сам Виталий, или как он представлялся при знакомствах с соотечественниками, — Виктор, был угнан немцами с Украины в Германию, откуда и попал на бельгийскую шахту. А после войны так и не вернулся на родину, став гражданином Бельгии и активистом Народно-трудового союза... У меня дома до сих пор хранятся подаренные им «на память»

книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака на тончайшей бумаге — из тех экземпляров, которыми члены НТС «снабжали» увиденных в порту Антверпена советских моряков или бросали, словно листовки, на русские корабли... Отдельная история. А продолжение нынешней будет удивительным. Пока же, вот...

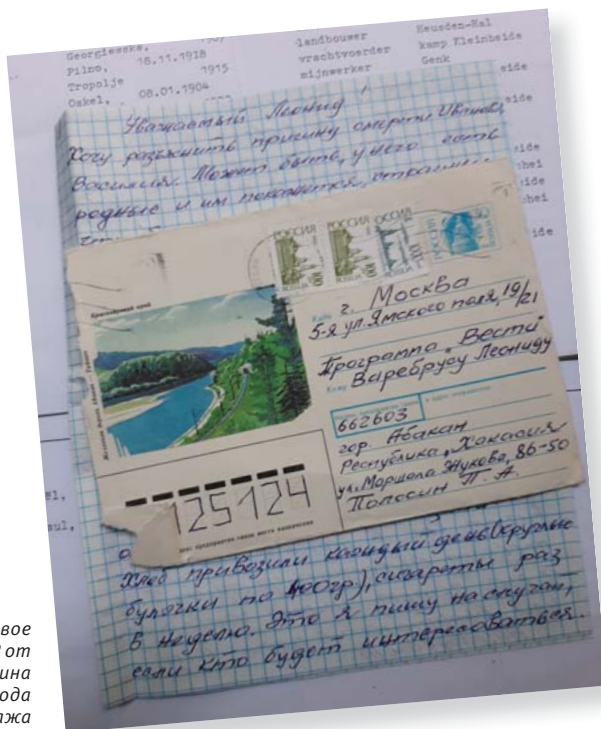


1. Медведев Матвей (Medwedew Matwej, Brodke) родился 26 октября 1903 года в Бродках, быть может — Броды? Профессия неизвестна. Умер 21 декабря 1942 г.
2. Рубанчук Денис (Rubantschuk Denis, Sukatschi), 1908 год, профессия неизвестна. Умер 27 декабря 1942 г.
3. Даклизный Александр (Daklizny), 23 сентября 1899 года, Каслоя Бална (так по тексту), быть может, Красная Балка, крестьянин, умер 7 января 1943 года.
4. Неделькин Андрей (Nedelkin Andrej, Prijnt), 1907 год, профессия неизвестна. Умер 7 января 1943 г.
5. Крайнин Петр (Krynin Pjoter, Ljaski), 24 июня 1907 года, шахтер. Умер 13 февраля 1943 г.
6. Четверун Иван (Tschetweron Iwan, Nejmanu), 2 сентября 1904 года, сельхозработчий. Умер 23 марта 1943 г.



Евгений Древинский, член Народно-Трудового Союза, собиравший все материалы по участию русской эмиграции в борьбе с немецкими войсками и по истории Второй мировой войны...

7. Шибайч Николай (Schibaich Nikolaj), Ульяновск, 1897 год, фермер, умер 7 апреля 1944 г.
8. Рябов Теодор (Rjabow Tjiodor), Георгиевка, 1907 год, сельхозработчий. Умер 29 мая 1943 г.
9. Барягин Михаил (Barjagin Miscil, Pilno), 18 ноября 1918 года, крестьянин. Умер 22 июня 1943 г.
10. Баштавей Алексей (Baschtawey Alexej, Tropolje), 1915, экспедитор. Умер 22 июня 1943 г.
11. Козетченко Иван (Kosetschenko Ivan, Oskel – Oskol?), 8 января 1904 года, шахтер. Умер 24 июня 1943 г.
12. Начдаев Павел (Nachdajow Pawel, Saliwooje — Солевое?), 1922 год, сельхозработчий. Умер 7 июля 1943 г.
13. Гущенко Алексей (Guschtenkow Alexej), Большое Дарьино, 3 марта 1924 года, сельхозработчий. Умер 24 июля 1943 г.
14. Dismenioj Dawid, Григорьевка, 14 июля 1907 года, крестьянин. Умер 8 сентября 1943 г.
15. Иванов Василий (Priisk Kragny), 3 марта 1922 года, студент. Умер 12 октября 1943 г.
16. Крутко Алексей (Krutky Alexy), Благовещенск, 1913 год, торговец. Умер 16 октября 1943 г.
17. Кобков Михаил (Kobkow Michaël, Eremejexka), 1923, фермер. Умер 26 ноября 1943 г.
18. Чугунов Лука (Tschugunow Luka, Korskendina, 7 октября 1910 года, шахтер. Умер 5 декабря 1943 г.
19. Шубин Матвей, место и год рождения неизвестны, профессия неизвестна. Умер 6 января 1944 г.
20. Яховский Василий (Jachowsky), Егорьевка, 1907 год, шахтер. Умер 2 июля 1944 г.
21. Деряго Иван (Derjago, Klischtschewka), 1915, шахтер. Умер 2 июля 1944 г.
22. Мордвинов Кирилл, Ростов, 1903 год, работчий. Умер 8 августа 1944 г.
23. Киселев (Kisselaw Iwirj), Юрьевка, 1 сентября 1923 года, фермер. Умер 24 августа 1944 г.
24. Кузовов Дмитрий, 1902 год, Протасово, фермер. Умер 30 ноября 1942 г.
25. Бондарев Михаил (Personajspoje), 1924, профессия неизвестна. Умер 7 декабря 1942 г.
26. Хубашкин Михаил (Hubjaschkin, Dorf-Rokrowo Donskoj), 18 ноября 1909 года, повар. Умер 9 декабря 1942 г.
27. Терещенко Павел (Tereschtschenko), Коробино, 1913 год, фермер. Умер 14 декабря 1942 г.
28. Пасилов Дайхан (Pasilov Dajehan, Parguny), 1916. Профессия неизвестна. Умер 16 декабря 1942 г.



Список и первое письмо на РТР от Петра Полосина после выхода репортажа из Фландрии

Всмотритесь в эти фамилии из нашего общего прошлого. А вдруг? Здесь всего 28 бывших пленных, от точки до точки. Целиком, и впервые за минувшие десятилетия снова на бумаге. Первый раз мы показали их в одном из выпусков телевизионной программы «Вести», в 90-х. Медленно, чтобы все успели прочитать. Главное, чтобы эти бывшие десятилетиями в забвении люди снова обрели свои имена. Публично. На всю страну...

И пришло лишь три письма, или целых три письма, что само по себе было удивительным. Ведь в России этот список никто и никогда прежде не видел. Чудесным образом, в один «klubok» поместились все участники истории: Василий Биликов во Фландрии, Виталий Поповский в Брюсселе, Петр Полосин в Абакане. И чуть позже прибавилось еще несколько фамилий.

Список погибших
в лагерях на
территории
Бельгии русских
пленных,
работавших
в шахтах Фландрии

LIJST der Russische krijgsgevangenen die begraven liggen te Koersel.

Naam en Voornamen	Geboorteplaats en -datum	beroep	overleden te	op
MEDWEDEN Matwej	Brodké 26.10.1903	niet gekend	kamp Kleinheide	21.12.1942
RUBANTSCHUK Denis	Sukatschi, 1908	idem	id.	27.12.1942
DAFLIZNY Alexander	Ch.Kasloja Balna, 23.9.1899	landbouwer	id.	07.01.1943
NEDELKIN Andrej	Prijnt 1907	geen	id.	17.02.1943
KRYNIN Pjoter	Ljaski, 24.6.1907	mijnwerker	Genk	13.02.1943
TOCHETWERON Iwan	Nejmany, 2.9.1904	landarbeider	kamp Kleinheide	25.03.1943
SCHIBAICH Nikolaj	Uljanowk, 1897	idem	id.	07.04.1943
RJABOW Tjiodor	Georgiewska, 1907	idem	id.	29.05.1943
BARJAGIN Michil	Pilno, 18.11.1918	landbouwer	Heusden-Hal	22.06.1943
BASCHTAWEJ Alexej	Tropolje 1915	vrachtvoerder	kamp Kleinheide	22.06.1943
KOSETSCHEENKO Iwan	Oskel, 08.01.1904	mijnwerker	Genk	24.06.1943
NACHDAJOW Pawel	Saliwooje, 1922	landarbeider	kamp Kleinheide	07.07.1943
BURCHTENKOW Alexej	Boljschaje Darjino, 3.3.1924	landarbeider	Heusden-Hal	24.07.1943
BISMENIOJ Dawid	Grigorjewka, 14.07.1904	landbouwer	kamp Kleinheide	08.09.1943
IWANOW Wasily	Prusk Kragny, 3.3.1922	student	idem	12.10.1943
BRUTKY Alexy	Blagowetschnsk, 1913,	koopman	Heusden-Hal	16.10.1943
KOBKOW Michail	Eremesjexka, 1923	landbouwer	kamp Kleinheide	26.11.1943
TSCHUGUNOW Luka	Korskendina 7.12.1910	mijnwerker	Genk-Waterschei	05.12.1943
SCHUBIN Matwej	? ?	?	kamp Kleinheide	06.01.1944
NACHOWSKY Wassily	Egorewka, 1907	mijnwerker	Genk-Waterschei	09.01.1944
BERJAGO Iwan	Klischtschewka, 1915	mijnwerker	idem	02.07.1944
MORDWINOW Kiril	Rostow, 1903	arbeider	kamp Kleinheide	08.08.1944
WISSELAW Iwirj	Jurjewka, 01.9.1923	landarbeider	idem	24.08.1944

Василий Сквородов
(1920–2011).
В 1943 году был
отправлен из СССР
с семьей на работы
в Германию, после
войны приехал
в Бельгию, где
проработал
шахтером 27 лет.
Фото из серии
«Всё в прошлом...
На покое...»



Начнем с письма от Петра Полосина, бывшего пленного, работавшего в шахте, как оказалось... в одной смене с Виталием Поповским, участником того телеэфира и упомянутым фамилию напарника... Но был и еще один немаловажный факт: Петр Полосин, оказывается, хорошо знал и Василия Билюкова, тот бежал из шахты в 42-м, Петр — в 44-м. У Василия даже сохранилось его фото...

Вот главное, а теперь к сообщению, полученному из Нижнего Новгорода вскоре после эфира. Нашлись родственники Василия Билюкова, которые разыскивали его с самой войны, но в Нижнем Новгороде, откуда тот ушел на войну... Теперь у Билюкова, кроме дочери во Фландрии, аж два племянника... на Урале. В России. Встретились ли они, не знаю, но по телефону поговорили. Кто знает, быть может, сегодня снова повезет и опять кто-то откликнется, хотя прошло уже столько десятилетий. А из списка, хранившегося у Василия, родня нашлась лишь у Михаила Кобкова. Из Омской области. К нам на телевидение написал Леонид Петрович Кобков: «Увидели, увидели фамилию брата, Кобкова Михаила, уроженца села Еремеевка и 23 года рождения. Он пропал без вести, потом дошли слухи, что вроде как в плену. И еще, подробность: будто бы немцы отобрали из пленных самых крепких, человек 400 и куда-то отправили под конвоем. Больше никаких вестей не было. Брата взяли на фронт после 10 класса, роста он был большого, метр 82. Теперь хоть знаем, что он в земле Бельгии...»

Времена в 90-е были сложными и вряд ли родственники съездили во Фландрию, да и с



«Главная» шахтерская церковь в Льеже, построенная бывшими пленными во имя св. Александра Невского и Серафима Саровского на собственные деньги

визой были проблемы, ведь кроме строчки в лагерной канцелярии, никаких документов... Важнее, что отныне за этой фамилией есть хоть какая-то история.

Письмо от Петра Полосина было на 10 страницах, убористым почерком. И целая жизнь



после плена и возвращения... Им было, о чем рассказать друг другу. И не только с экрана... Еще во время моей командировки в Бельгию, Поповский и Билюков, словно 50 лет назад, снова заспорили. Виталий, вспоминая прошлое, заметил, что, когда его везли из Германии на бельгийскую шахту, он все ждал, когда же Сталин их освободит и даже стихи про будущее написал. А Василий был яростным противником вождя. Мол, столько людей погибил. За спорами и проходили дни.

Петр работал на шахте Беринген два года, с 42 по 44-й, пока при помощи бойцов Сопротивления сбежал. Василию, напомним, удалось это в 42-м. Сразу после побега его спрятала на своей ферме одна фламандка, ставшая вскоре его женой. А у Петра приключений хватило бы на целую книгу.

С этого они и начали, с того, о чем Билюков уже не мог знать. Например, с 43 года в лагере по воскресениям работал ларек, а у всех военнопленных были специальные книжки, где указывался заработок. В бельгийских франках. И каждый имел право купить 150 граммов шнапса. Раз в неделю привозили сигареты, каждый день бельгийцы раздавали булочки граммов по 400. Так, деталь, но все-таки... Работа в шахте тяжелая и без дополнительного питания было бы не выжить.

«В плен, написал мне Петр, он попал под Бобруйском, а до того служил в районе Брест-Литовска. 10 классов закончил в 39-м, поступил в Мариупольский металлургический институт... Потом была война и плен. В Бельгию попал не сразу. Сначала были этапы через Польшу в Германию, массовые побеги с расстрелами. А когда я уже бежал, бельгийские патриоты переправили меня в Англию...»

15 февраля 1945 года на трех английских кораблях Петр и еще 10 тысяч бывших советских военнопленных были отправлены на родину. Есть подробности, как в Босфоре многие прыгали за борт, лишь бы не возвращаться... Потом Одесса, и дорога под конвоем в Башкирию, где проходили проверки и следствие... И Магадан, Колыма... Только в 1954 году Петр увиделся с мамой, в Ельце. Только тогда для него кончилась война!

Это совсем коротко, из тех 10 страниц его жизни. У оставшихся в Бельгии Василия Билюкова и Виталия Поповского все было иначе. Но память прошлого их снова объединила, как и во времена плена. Сегодня никого из участников этой истории нет в живых. Потому и будоражит память, а вспомнить — значит, продлить их жизнь.

Что я и делаю... **ИБ**



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

Проект Союза театральных деятелей
Российской Федерации

Новый выпуск № 3-223/2019



Предыдущие номера
журнала вы можете
приобрести по адресу:

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34, стр. 1,
(495) 650-30-89, 6503089@mail.ru

Ежеквартальный журнал для всех,
кто интересуется культурой

ИНЫЕ БЕРЕГА

журнал о русской культуре за рубежом

1 (51) 2020

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34 стр. 1
Тел.: (495) 650 30 89
e-mail: inie-berega@mail.ru, berega@stddf.ru

